

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМ ПЛЕХАНОВА

IV
ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИСТОРИОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX—XX вв.
(Современное видение истории)

30—31 мая 1996 г.

Тезисы докладов

Санкт-Петербург
1996



РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМ ПЛЕХАНОВА

IV
ПЛЕХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

**ИСТОРИОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ:
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX—XX вв.**

(Современное видение истории)

30—31 мая 1996 г.

Тезисы докладов

Санкт-Петербург
Издательство Российской национальной библиотеки
1996

Дом Плеханова
1996-5079/2

Научный редактор — Т. И. Филимонова, канд. ист. наук
Научный рецензент — М. А. Абрамов, канд. филос. наук

СОДЕРЖАНИЕ

Филимонова Т. И. Предисловие	5
1. Панарин А. С. (Москва)	
Кризис современности и ожидание новой парадигмы в обществоведении	7
2. Василенко И. А. (Москва)	
Цивилизационный анализ в политической науке: возможности и перспективы	10
3. Косолапов Н. А. (Москва)	
История, наука и эволюция операциональных структур сознания (в порядке постановки проблемы)	13
Есть ли будущее у идеологии научного коллективизма	18
4. Пеев Г. И. (Санкт-Петербург)	
Христианское наследие в секуляризованном мире	24
5. Казин А. Л. (Санкт-Петербург)	
Православная цивилизация как духовная реальность (к вопросу о Русской Идее)	28
6. Opeide G. (Tromso)	
On the problem of Big Society in Russia	33
7. Юрьев А. А. (Санкт-Петербург)	
Эсхатологическая концепция истории в мировой драме Г. Ибсена «Кесарь и Галилеянин»	40
8. Балуев Б. П. (Москва)	
Историософский характер споров об интеллигенции на пороге 20 века ..	45
9. Любин В. П. (Москва)	
Социализм и национализм в 20 в.	51
10. Светленко С. И. (Днепропетровск)	
Российское народничество и украинское народолюбство: анализ общего и особенного	55
11. Cleminson R. (Bradford)	
The Republican / Nationalist Binary: Historiographical questions related to the Second Republic, Revolution and Counter-Revolution in Spain, 1936—1939	60
12. Van Rossum L. (Amsterdam)	
The Second International and social democratic agitation among the agrarian population: 1889—1914	63

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета РНБ

(Горьковское отделение РНБ)

30—32 квт 1996 г.

Издательство

Подписано к печати 17.05.96. Формат 60×84/16. Бумага писчая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 6,8. Усл. кр. отт. 6,8. Уч. изд. л. 6,5. Тираж 100 экз. Заказ № 84

Издательство Российской национальной библиотеки, ОП.
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18.

Лицензия
№ 020246
от 17.10.91.

© Российская национальная библиотека
1996 г.



13. Slatter J. (Durham)	
The «United opposition» of the 1890-s: attempts to unite russian political emigration.....	69
14. Казарова Н. А. (Ростов-на-Дону)	
Ю. О. Мартов о большевистской власти и перспективах революции	73
15. Усыскин Г. С. (Санкт-Петербург)	
Исповедь «Еретика от марксизма». А. А. Богданов о Г. В. Плеханове (К выходу книги «Десятилетие отлучения от марксизма»)	76
16. Sakamoto H. (Toyama)	
Подверг ли Плеханов критике Михайловского, не читая его статьи?	81
17. Каракев А. В. (Санкт-Петербург)	
Листовки группы «Единство» (1917—1918)	84
18. Чернобаев А. А. (Москва)	
Публикация документов Г. В. Плеханова на страницах журнала «Исторический архив»	89
19. Бережанский А. С. (Липецк)	
Новые страницы биографии Г. В. Плеханова	93
20. Лебедев Г. С. (Санкт-Петербург)	
Балтийская морская цивилизация. Путь из варяг в греки и петербургский миф	97
21. Жучков В. П. (Санкт-Петербург)	
Были ли родственниками Мария Федоровна Плеханова и Виссарион Григорьевич Белинский	100
Список докладчиков	104

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из важных факторов возникновения исторического интереса и соответствующей формы познания было выявление необратимости, взаимосвязи, последовательности и детерминации социально значимых событий и поступков людей во времени, составляющих, по мнению русского философа А. Ф. Лосева, общественное развитие, которое и является историческим процессом (1). В самом общем виде одна из главных функций исторического познания состоит в выработке социального самосознания как различных общностей людей, так и человеческого сообщества в целом. Осознание необходимости последнего становится все более очевидным сейчас, на рубеже тысячелетий, когда перед человечеством объективно всталась задача выживания. Какое из двух начал дуалистического Человека — стихийное или сознательное, одержит в нем победу, зависит во многом от «степени культурного развития» (2), на которую он сумеет подняться.

Вопрос о значимости культурообразующего фактора истории еще в 1895 поставил Г. В. Плеханов в своем и ныне сохраняющем актуальность труде «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Под культурой Плеханов понимал все, что было создано человеком: экономика и социальная структура, религия и политика, искусство, мораль и нравственность.

Культурно-генетический метод исследования истории, который Плеханов сам определял как «научное понимание истории» или философия истории, позволил ему сделать уже в начале 20 в. вывод о грядущей необходимости международной организации труда как формы освобождения человека через творчество, в основу которой будут положены «простые законы нравственности и справедливости».

Как никогда верно правильность высказанных Плехановым гипотез о тенденциях и особенностях исторического развития в 20 столетии подтверждает тематика докладов, представленных на IV Плехановские Чтения, которые проводятся в год 140-й годовщины со дня рождения выдающегося русского философа и революционера.

Ряд представленных работ отражает многообразные аспекты жизни и деятельности Плеханова, его роль в политическом развитии и вклад в историю общественной мысли.

Одну из групп составляют исследования историографического характера, в которых рассматриваются реальные исторические события, деятельность политических движений и партий. Все они вводят в научный оборот новые данные, обогащающие сферу конкретно-исторического знания.

В другую группу вошли эссе историософского плана, где авторы, анализируя реальные исторические явления отечественной и зарубежной истории, представляют собственное видение социо-культурной динамики.

Проблемы операционализма сознания, онтологии, эпистемологии и аксиологии затрагиваются в большинстве предложенных для обсуждения докладов. Впервые в рамках ставших уже традиционными чтений вопросы исторического развития рассмотрены представителями столь различных методологических школ. Это лишний раз подтверждает многократно повторенный в докладах участников вывод о том, что эпоха, на пороге которой мы стоим, требует от человечества объединения усилий в решении глобальных задач.

**Т. И. Филимонова, заведующая сектором Дома Плеханова
Отдела Рукописей РНБ, кандидат исторических наук**

Библиография:

- Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977. С. 7
- Плеханов Г. В. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1956. С. 614.

**Панарин А. С.
(Москва, Россия)**

КРИЗИС СОВРЕМЕННОСТИ И ОЖИДАНИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ

В последние годы в российском обществоведении закладывается стереотип официозной науки, преклоняющейся перед современностью (с большой буквы). Дихотомия «традиционизм — современность» пронизывает наш западнический менталитет, приписывающий все недочеты общественной жизни пережиткам упорно сопротивляющегося традиционализма. Я убежден, что современность (модерн) дает отнюдь не меньшие поводы для критики. Глобальные проблемы нашего времени порождены не традиционализмом, они связаны с утилитарно- pragmaticским духом современности, с пафосом переустройства и покорения мира. Угроза разрушения природы нетерпеливым экспериментаторством, во всем окружающем мире не усматривающим ничего, кроме средства удовлетворения потребительской похоти, — вот что свидетельствует о необходимости критического отношения к модерну и переосмысливания самих его основ.

Другое свойство — кризис нормативной базы цивилизации, самого статуса ценностных начал. Например, феномен «новых русских» в социокультурном плане выступает как разновидность современного нигилизма, утратившего культурную память и какое бы то ни было представление о норме. Такой нигилизм способен вызвать не меньшее опустошение в социальной среде, чем промышленный технологический нигилизм — в природной. Мы живем в поздний час истории, когда подводят итоги и раскрываются дальние смыслы целой духовной формации, породившей классическую науку Нового времени.

Каковы основания этой духовной формации?

Во-первых, это рационализм, построенный на редукционизме: на сведение сложного и рафинированного к простому и одномерному. Физикализм — настоящее кредо классической науки, которому человечество обязано и всеми своими технологическими успехами и глобальными угрозами. При этом сведение сложного к простому носит не только эпистемологический характер, но ведет к заподлицу в отношении высоких мотивов в культуре. Маркс, Ницше и Фрейд выступали настоящими учителями заподлицу, сводящими высокие человеческие мотивы к «низким» (экономическим, сексуальным, «вitalным»). Такие редукционистские процедуры морально небезобидны: высокие мотивы угасают в куль-

туре, систематически непризнающей их подлинности. Готовы ли мы и впредь платить столь высокую цену за сохранение рационалистической самоуверенности современного сциентизма?

Во-вторых, к основанию модерна следует причислить социоцентризм: представление о том, что человек подчиняется одним лишь социальным закономерностям, но свободен от природных. Человек ощущал себя «великим маргиналом» Вселенной, которого космическая гармония ни к чему не обязывает.

На этом основании закладывается субъект-объектное отношение к миру, понимаемому как простая совокупность средств, и не имеющему самоценного статуса.

Наконец, еще одним принципом, оправдывающим сугубо технологический, утилитарный подход к миру, является конгломеративность. Неживая, косная материя потому, в частности, выступает эталонным пространством классической науки, что воспринимается как конгломерат, не препятствующий технологическому произволу. Ученый Нового времени поступает с природой примерно так же, как современный радикальный реформатор с культурой: отсекает все то, что ему сегодня представляется лишним.

Формирование новой метапарадигмы в обществоведении связано, с одной стороны, с релятивизацией опыта в западной цивилизации, больше не отождествляемого с общечеловеческим или с «естественным», с другой — с реабилитацией незападных типов опыта в широком смысле слова.

Главный вопрос сегодня: можно ли конвертировать восточную мудрость в современную научную постклассическую рациональность, уважающую высокие гармонии природы и культуры. Другими словами, способен ли современный диалог мировых культур (цивилизаций) стать источником новой научной эпистемы, или этот диалог наука вынесет за скобки, как не имеющий к ней прямого отношения?

Я уверен, что диалог культур способен создать действительные предпосылки перехода от классической к постклассической науке, эпистемологический потенциал которой отныне будет подпитываться не только западным цивилизационным опытом, но и опытом других культур. Я, в частности, верю в соответствующий потенциал русской культуры, которой предстоит «вторичная» реабилитация (после сначала большевистской, а теперь — новейшей западнической дискредитации).

В русской культуре рубежа 19—20 вв. складывались три мощных течения, бросивших вызов основным установкам западноевропейской научной классики и, как оказалось, весьма перспективных ввиду проблем современного глобального кризиса.

Первое — это русский космизм, как альтернатива социоцентризму, отрывающему человека от природы и проповедующему независимость социума от космоса. Русский космизм предвосхищает современную козво-люционную парадигму науки — идею соразвития мира природы и мира цивилизации на Земле.

Второе течение в русской культуре представлено философией Всеединства (Вл. Соловьев). Центральная идея этого течения альтернативна представлениям о конгломеративности и мозаичности окружающего мира, попустительствующим экологическому нигилизму технической цивилизации.

Третьим течением является своеобразный натурфилософский организм. Западный технологический активизм оправдывает свои установки посредством образа косной материи, которая не имеет внутреннего лада и ни к чему человека не обязывает. Биоморфная модель в познании со временем коперника переворота считалась архаичной. Русская натурфилософская школа в лице В. В. Докучаева, Л. Л. Чижевского, В. Н. Сукачева имела смелость перевернуть перспективу, отставая доминанту живого в космосе и сам образ Космоса как «живого огня». Как показал новейший опыт, эта смелость была оправданной: постклассическая наука все больше склоняется к версии самоорганизующегося Космоса, ведущего себя не как мертвый механизм, а как живой организм.

Один из главных вопросов современной культуры касается смысла и судеб постмодерна. Последний может выступать в двух ипостасях. Он может представлять собой радикализацию модернистских тенденций развенчания всех норм, расшатывания и перетряхивания мира, — чем и ознаменовался западный постмодерн. Но он может развиваться в духе тех ожиданий человечества, в которых выразилась и огромная ностальгия по целостности и гармоничности, по идеалу, и огромная тревога по поводу не знающего удержу технологического нигилизма.

Если плюрализм цивилизаций — не стилизация культурологов, а реальность, с которой связана многовариантность постиндустриального развития, то российский постмодернизм может стать одним из источников формирования современной постклассической научной парадигмы.

**Василенко И. А.
(Москва, Россия)**

ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

20 век политологи назвали веком «вселенской встречи» народов и культур. Невиданный прежде рост скоростей в разных измерениях сталкивает цивилизации и континенты, приводит к неожиданным взаимодействиям разных человеческих сообществ, часто заряженных настолько противоположной энергетикой, что при взаимных контактах вспыхивают искры, грозящие вселенским пожаром.

«Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение — по другую», — сказал когда-то Монтень, а вслед за ним Паскаль. Современные компаративные исследования подтвердили, что культурные ценности одной цивилизации не могут претендовать на универсальность. Даже наиболее распространенные этические нормы, наиболее очевидные политические и социальные структуры, все-таки не являются всеобщими. Проблемы, актуальные во Франции и Скандинавии, шокируют арабский мир и не могут быть поняты в Японии. Культурные барьеры являются стимулом для серьезных размышлений исследователей над различными проблемами политической жизни и способствуют смене парадигм в современной политологии.

Еще в начале века социологи Чикагской школы для того, чтобы объяснить наблюдавшиеся ими контрасты в социальном поведении ирландцев и африканцев, поляков и итальянцев, использовали концепцию культуры. Они были в числе первых, кто обратил серьезное внимание на различия в менталитете представителей разных цивилизаций, и связанные с этим психологические, социальные и политические барьеры.

Некоторое время спустя западные политологи начали свое культурное наступление на другие цивилизации, вооружившись собственным научным инструментарием. Они полагали, что весь мир сможет развиваться по пути, указанному западной цивилизацией, но вскоре обнаружили неэффективность своих «универсальных» концепций. Люсьен Февр не без иронии назвал сложившуюся ситуацию «tragедией прогресса». Оказалось, что западные аналитики сделали слишком широкие обобщения на основе изучения процесса модернизации в Западной Европе, который они сочли необходимым условием и для других цивилизаций, хотя они знали об этих культурах значительно меньше.

Современный опыт развития Японии, Южной Кореи, Китая, Гонконга и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона свидетельствует о том, что формы западной социальной и политической организации не являются неизбежным следствием замены феодализма, традиционализма и аграрной системы хозяйства новыми промышленными технологиями. Напротив, капиталистический индивидуализм, введение светского образования, признание особой роли средних классов и принадлежность к ним, рост либерализма и плюрализма групповых интересов, множество других особенностей, которые неотделимы от социально-политической системы стран Северо-Западной Европы и США, следует рассматривать как одну из возможных альтернатив перехода к урбанистическо-индустриальному общественному устройству, а не обязательно как более совершенную или более нравственную (1).

Компаративные исследования способствовали широкому признанию альтернативных моделей модернизации и позволили политологам разных стран избавиться от нормативных моделей этноцентризма. Не обошлось и без радикальных концепций. Ж. Зинглер предложил начинать научные исследования с незападных политических систем, чтобы затем вернуться к западным, но уже воодушевившимися новыми представлениями.

Д. Сартори, критикуя Ж. Зинглера, справедливо подчеркнул, что нельзя преодолеть одну форму этноцентризма, одновременно впадая в другую. Все формы культурной организации следует признать равноправными. Политология должна, наконец, отказаться от поисков «универсальных стадий развития», «оптимальных моделей» и «национальных институтов», пригодных везде и всегда.

Одновременно с преодолением этноцентризма в политической науке идет другая научная революция, получившая название «постклассической». Казавшиеся веками незыблыми основания классической науки внезапно пошатнулись под натиском новых научных открытий в разных областях обществознания. Квантовая теория приучила исследователей к понятию дискретности, теория относительности поставила под вопрос традиционную идею причинности, этот фундамент позитивизма и классической теории.

В общественных науках стала складываться новая картина «стохастической Вселенной» (А. Панарин), отличающаяся сложностью, нелинейностью, неопределенностью, необратимостью. Величественный мир рациональной науки, заключающей в себе свое объяснение, разрушился на наших глазах. Политика в «стохастической Вселенной» выступает как рисковая, не гарантированная в своих результатах деятельность. Новая

сложная картина политического мира и политических отношений обязывает политологов отойти от старых национальных схем, где политическим институтам, функциям и системам принадлежала ведущая роль.

Политология все больше становится культуроцентричной наукой. Перефразируя Люсьена Фева, можно сказать, что политология сегодня выступает наукой о непрестанных изменениях разных политических культур, об их постоянном и неизбежном приспособлении к новым условиям существования — материальным, моральным, религиозным, интеллектуальным. Наукой о тех соответствиях, о том равновесии, которое во все эпохи само собой устанавливается между различными и одновременными условиями человеческого бытия: условиями материальными, техническими, духовными.

Библиография:

1. Wiarda Howard. The Ethnocentrism of Social Science // Review of Politics. April. 1981.

Косолапов Н. А.
(Москва, Россия)

ИСТОРИЯ, НАУКА И ЭВОЛЮЦИЯ ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР СОЗНАНИЯ (в порядке постановки проблемы)

1. Проблемой внутренней структуры индивидуального и общественно-го сознания занимались до сих пор преимущественно исследователи, принадлежащие к марксистской теоретической и методологической школам. Философов занимало исключительно общественное сознание, а в нем — выделяемые по функциональным и / или содержательным критериям формы, виды, типы сознания. Практические социологи обращаются к фактическому содержанию сознания, оперируя категориями общественного мнения, его репрезентативности, сознания массового (обыденного) и специализированного. Психологов интересует прежде всего внутренняя функциональная структура индивидуального сознания. Во всех этих случаях структура сознания понимается скорее как инструмент его анализа, нежели как нечто практическое, способное иметь реальное, тем более принципиально важное, даже решающее значение в конкретных жизненных ситуациях. Марксистской школе, однако, органически свойственна идея **развития, эволюции**.

2. На Западе, в рамках философской и методологической традиций позитивизма, наиболее интересные работы проделаны в области изучения общей теории систем, структурных революций и, в частности, специфики последних применительно к развитию науки. В то же время эти работы крайне слабо соотносятся там с изучением общественного мнения и взаимосвязей между мнением и поведением на индивидуальном и общественном уровнях. Сама постановка вопроса об индивидуальном и общественном сознании в марксистском понимании последнего, тем более попытки как-то внутренне структурировать это явление, представляется, чужды доминирующему на Западе теоретическим подходам и методологическим традициям. Свою роль, несомненно, сыграла и этикетка марксистского происхождения постановки и трактовки названных проблем.

3. В последние полвека, и особенно начиная с 1970-х гг. проблема структуры сознания начинает переосмысливаться во многом по-новому под влиянием информатики, в первую очередь — технических разработок сложнейших систем автоматического управления, опыта проектирования и эксплуатации крупнейших информационных систем и банков данных, а

также работ по созданию так называемого «искусственного интеллекта». Оценивая сейчас интеллектуальные итоги этих направлений работ в контексте рассматриваемой темы, подчеркнем три аспекта:

во-первых, «технари» как на Западе, так и у нас, столкнувшись либо с полным отсутствием соответствующих разработок в общественных науках, либо с их идеологизированным и схоластическим характером, вынуждены были сами дать практические трактовки многих понятий и категорий, без какого-то операционального определения которых невозможно создание соответствующих систем. Естественно, делали они это без оглядки на многие «священных коровы» обществоведения и, в советском случае — даже с немалой мерой презрения и пренебрежения к ним, что имело и свои «плюсы», и свои «минусы» (но больше первых);

во-вторых, разработка компьютеров и информационно-поисковых систем, их программного обеспечения, алгоритмов сложнейших операций и процессов (космос, военная сфера, производственные технологии, государственное управление) не только привлекла внимание исследователей и практиков к проблеме внутренней организации реально функционирующего сознания, его связи с механизмами информации и поведения, но и наглядно продемонстрировала всю сложность таких структур и взаимосвязей, и, — что самое главное, — их определяющее значение для того, какие классы задач сможет решать данная конкретная система;

в-третьих, распространение персональных компьютеров вынудило десятки миллионов человек столкнуться с весьма специфическими проблемами, возникающими в процессе их эксплуатации, и начать думать «за компьютер» и «как компьютер», самим заняться программированием. В результате на массовом уровне исподволь складывается привычка соотносить работу человеческого мозга с работой компьютера, а тем самым рождается и новое, гораздо более сложное и «просвещенное» представление о мышлении самого человека.

4. Свое слово начинает все заметнее говорить социальная и политическая практика, включая сферу международных отношений. Во всех этих областях, в частности, значительное теоретическое и практическое развитие получили в последние 20—25 лет методы, средства, механизмы политического урегулирования споров и конфликтов. Всякий, кто участвовал в таких урегулированиях, знает по личному опыту, насколько трудно бывает добиваться согласия в ситуациях, когда за столом переговоров сидят представители разных (особенно, если существенно разных) культур. В литературе, посвященной теории и практике переговорного процесса, эта проблема описана полно и хорошо. Дело не только во взаим-

ных обидах и подозрениях, в конфликте интересов, опасениях «проторговаться» и прочих, достаточно очевидных вещах. И даже не в различиях политических и идеологических убеждений, ценностных ориентаций как таковых. Дело прежде всего в том, что представители разных культур и субкультур и мыслят по-разному; притом их мышление явно различно не только по содержанию, но и по особенностям его протекания, то есть **операционально**.

5. Причем, насколько можно судить по политической практике, интернационализация современной жизни, новые коммуникации, формирование целостного и взаимозависимого мира вовсе не ведут к унификации в сфере сознания и — особенно — во всем, что касается внутренней структуры и практического функционирования сознания. Какие-то его компоненты (как правило, наиболее простые, даже примитивные, несущие узко специализированную функциональную, информационную или ценностную нагрузку) объективно стандартизируются, и число таких «стандартных блоков» становится все больше. Но одновременно возрастает и число структур, которые можно «собирать» из таких блоков в сфере как индивидуального, так и общественного сознания. Нет никаких оснований ожидать, что этот второй процесс вдруг повернет вспять. Так что в будущем социальную и политическую практику ожидает необходимость и неизбежность контакта все большего числа культур и субкультур, притом контакта все более масштабного, реально значимого и повседневного, а не преимущественно эпизодического.

6. Все изложенное позволяет поставить проблему **операциональной структуры сознания** и сформулировать гипотезу относительно эволюции этой структуры во времени и в социальном и когнитивном пространствах.

7. Структура сознания определяется следующими факторами: материальной и социальной природой его носителя; функциями, выполняемыми сознанием в целом; содержанием и особенностями жизнедеятельности данного субъекта или иного носителя сознания; вытекающим отсюда необходимым набором функциональных подсистем данного конкретного сознания; содержательным наполнением каждой из этих подсистем и сознания в целом (что включает как знания, ценности, информацию, так и навыки, умения, иные продукты процессов социализации субъекта и интериоризации им внешних воздействий); количеством прямых и обратных связей между функциональными и содержательными компонентами сознания по «вертикали» и «горизонтали»; вытекающими отсюда способностями сознания не только к накоплению и усвоению нового содержания,

но и к установлению новых взаимосвязей внутри самого себя и как следствие этого — к саморазвитию.

8. Описанная структура сознания — **инвариант**. Она присуща любому сознанию (индивидуальному и общественному, природному и искусственному, развитому и примитивному) в любом месте и в любой момент или период времени.

Операциональной структурой сознания мы будем называть структуру конкретного реального сознания, оцениваемую по всей совокупности перечисленных выше критериев в объективных, измеримых или поддающихся измерению параметрах.

Операциональная структура сознания уникальна и присуща только данному субъекту или иному носителю сознания.

Важнейшая особенность этой структуры — количество и качество внутренних взаимосвязей в сознании. При прочих равных условиях, чем более развита сеть таких взаимосвязей, тем выше способность данного сознания усваивать и перерабатывать информацию, рождать новые аналогии и ассоциации, давать более широкий набор типов поведения, а главное, развиваться самому. Плотность и разветвленность внутренних связей определяет качество самого сознания — его способность отражать явления определенных классов сложности и формировать соответствующие по уровню сложности типы реакции и поведения.

9. По плотности и богатству внутренних взаимосвязей можно выделить два прямо противоположных типа сознания. **Предельно бедное** сознание характеризуется очень низкой плотностью и примитивностью таких связей. Подобное сознание органически неспособно усваивать сложные виды зависимостей в получаемой информации и рождать типы сложного поведения: у него просто нет внутренних связей (а не только и даже не столько объемов памяти или иных чисто количественных способностей) для решения таких задач.

Развитое сознание характеризуется высокой плотностью и разветленностью внутренних прямых и обратных связей, их богатством. У такого сознания тоже есть свои пределы. Но: во-первых, они во всех отношениях гораздо выше, чем у сознания бедного;

во-вторых, эти пределы допускают гораздо больший, чем у бедного сознания, диапазон рассогласований между содержанием и состоянием сознания, с одной стороны, и поведением соответствующего субъекта, с другой. Так, сознание может обладать великолепной системой связей (потенциалом), но быть незагруженным или малозагруженным по содержанию. Субъект может стремиться использовать потенциал сознания, не подкреп-

ляя этот потенциал знаниями, умениями и т. п.; а может не использовать или почти не использовать сознание, прекрасно оснащенное и по внутренним связям, и по содержанию.

10. В историческом масштабе времени развитие как личности, так и общества отражается и проявляется в первую очередь в последовательном усложнении операциональных структур сознания и, как следствие этого, в нарастающем качественном разрыве между сознаниями внутренне бедным и развитым (по изложенным выше критериям). Собственно, реальный уровень развития и нужно, очевидно, измерять достигнутым качеством сознания, оцениваемым по признакам и через рождающееся этим сознанием социально значимое поведение. Специфика и сложность современного мира в том, что он все чаще, сильнее и непосредственнее сталкивает между собой качественно разные системы сознания, что заставляет ставить вопрос об условиях и пределах возможностей их взаимодействия.

Косолапов Н. А.
(Москва, Россия)

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ИДЕОЛОГИИ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВИЗМА?

1. Избранная тема предполагает рассмотрение двух вопросов: есть ли будущее у идеологии как явления, притом будущее активное, влиятельное, созидающее и объективно прогрессивное; насколько вероятно, что место конкретной идеологии, имеющей подобное будущее, может занять некоторое позитивное развитие социалистической идеи вопреки переживающему ныне этой идеей кризису?

На мой взгляд, на оба эти вопросы не только можно и правомерно, но и необходимо отвечать утвердительно. Цель — изложить теоретическое видение проблемы, а не давать какие бы то ни было политические и / или идеологические оценки.

При всем множестве работ, концепций и оценок, целостной и современной научной теории идеологии как явления до сих пор нет. Особенно теории, которая имела бы операциональную ценность. Это дает мне право изложить собственное понимание ряда теоретических аспектов проблемы идеологии.

2. Будущее любого социального и духовного явления (а идеология есть то и другое одновременно) в решающей мере определяется тем, сохраняется ли, во-первых, причины, вызывающие данное явление к жизни; во-вторых, сохраняются ли также социально значимые функции, которые данное явление «обслуживают»; в-третьих, не возникнет ли какой-то качественно иной комплекс методов и средств, который позволит более действенно, эффективно осуществлять те же функции.

О функциях идеологии написано много. В дополнение к имеющимся в литературе положениям подчеркну функции идеологии, имеющие на взгляд политпсихолога принципиальное значение: **когнитивно-психологические, познавательно-мотивационные, социально-организационные** функции идеологии.

3. Любое сознание, будь то индивидуальное или общественное, способно функционировать и, особенно, трансформироваться в поведение только при соблюдении **принципа субъективной правоты**: то есть лишь будучи убеждено, что поступает верно, правильно (хотя бы объективно это было и не так). Нарушение этого принципа отзывается нерешительностью в постановке целей, колебаниями и шараханиями в поведении. В крайних слу-

чаях сознание может впасть в неврастенические и шизоидные реакции и состояния, вплоть до «распада личности» субъекта.

Идеология компенсирует верой нехватку знаний и информации, тем самым делает возможным «перелив» общественного сознания в общественную практику. Пока незнание было тотальным, вера вынужденно вытесняла все остальное и ранние идеологии принимали форму религий. Любая наука, однако, базируется на некоторых исходных аксиомах и постулятах, то есть по существу на вере. Поэтому развитие и накопление научного знания само по себе не вытеснит веру из идеологий, но скорее всего приведет к изменению форм и содержания самих верований.

4. Идеология закладывает самые общие, наиболее долговременные, а потому и принципиально важные основы социальной мотивации к познанию и деятельности. Она фактически как-то решает проблему познаваемости мира (если он в принципе непознаваем, то незачем и предпринимать заведомо обреченные попытки); ставит имплицитные вопросы, на которые жизнь неизбежно будет давать какие-то ответы (если все в воле Божьей, то как данному человеку заслужить Его благоволение?); объективно формулирует некоторые естественно-научные и социальные гипотезы, которые, опять-таки объективно, будут неизбежно проверяться последующим ходом жизни.

Тем самым задается не только определенное отношение к постижению мира, но и характер этого постижения: преимущественно чувственный, экзистенциально-импрессионистский (когда за знание принимается «озарение свыше»), или же рационально-рефлексивный, при котором в основе идеологии заложена некоторая система осознаваемых и определенным образом организованных взглядов, подтверждение либо отрицание которых опытом трансформируется потом в новую, более сложную систему воззрений — богословских, философских, научных.

Доминирующий тип познания предопределяет и общий характер мотивации субъекта к деятельности: созерцательно-пассивный, если мир признается в принципе непознаваемым, а основная и наиболее важная часть судьбы ждет человека в загробной жизни; или же активный и инициативный, когда есть понимание того, что иной жизни может и не быть, а качество этой (или даже загробной) жизни во многом зависит от самого человека.

5. Идеология организует социум для определенного типа и образа жизни, обеспечивая связь сознания с практикой, и делает это через механизмы социальных — целеполагания, мобилизации и создания соответствующих организационных структур.

Идеология без этих механизмов — не более, чем система взглядов. Важно, что эти механизмы как минимум отчасти лежат в структуре сознания.

Идеология организует социальную практику через **структуро**вание духовной деятельности и влияние таким образом организованного сознания на поведение и деятельность людей. Именно так достигается униформизм практики, которого не мог бы дать никакой политический, административный, физический контроль.

Структурируя духовную деятельность человека, идеология тем самым предопределяет и то, возникает ли в этой деятельности место осознанному рациональному мышлению; а следовательно, организует и само мышление, делая возможным в ходе и результате него формирование именно познания, а не «валовое» накопление разрозненных сведений и представлений.

6. Таким образом, идеология как явление — не заблуждение, не ложное сознание, а способ структурирования и программирования общественного сознания и социальной практики в сферах духовной и материальной деятельности, предопределенный внутренней природой самого сознания, индивидуального и общественного.

Необходимо разделять: природу идеологии как явления; выполняемые ею объективные социально-исторические и политико-психологические функции; детерминируемые уровнем развития самого сознания исторически различные формы существования идеологии как явления (религиозные, научные, смешанные); непосредственные содержание и ритуалы конкретной идеологии; эволюцию конкретной идеологии во времени.

Реальное наполнение всех перечисленных признаков и определяет устойчивость идеологии как явления, жизнеспособность, эволюцию, пределы возможностей конкретных идеологий.

7. В период их становления и социалистическая идея, и идеология коммунизма объективно и субъективно были антитезой идеологии и концепциям божественного происхождения мира и вытекающим отсюда представлениям о непознаваемости мира и невозможности его переустройства человеком и в интересах человека, а также основанной на подобных представлениях духовной и материальной социальной практике.

В последующем своем воплощении они объективно противостояли, но и вынужденно взаимодействовали, испытывая на себе его влияние (что крайне важно и до сих пор не подвергалось научному анализу), с религиозным сознанием, понимаемым здесь не как конкретное вероисповедание, но как определенная, исторически обусловленная и неизбежная ступень в

развитии структуры сознания и типов мышления («в компьютер какого поколения загружалась идея социализма»).

В традиционном для европейской культуры духовном и политическом споре индивидуалистического и колlettivistского начал социалистическая социально-историческая гипотеза, которой предстояла проверка жизнью, сознательно и откровенно становилась на позиции последнего. Далее коммунистическая идеология абсолютизировала колlettivistское начало. Еще позже, попав на российскую политическую и психологическую почву, эта абсолютизация «обросла» всеми характернейшими признаками авторитарного сознания. Плюс, разумеется, известная практика реализации идеологии коммунизма.

8. Оценивая итоги социалистического эксперимента, необходимо видеть все эти (и многие не упоминаемые тут за невозможностью сделать это в кратком рассмотрении) градации самого явления и путей его становления и эволюции.

По практическим итогам 20 века самые общие выводы можно, на мой взгляд, сформулировать так:

— социалистическая идея в основном и главном оказалась верной, что объективно подтверждается социал-реформистской направленностью развития Запада и достигнутыми на этом пути результатами;

— в частности, верно, что социализм вырастает из капитализма, «перерастая» последний; именно поэтому все попытки построить социализм в странах «третьего мира» потерпели неудачу;

— в то же время коммунистическая идеология как крайность, какой по определению является всякая абсолютизация, доказала свою практическую несостоятельность;

— политический и духовный эффект неудачи коммунизма был многократно усилен использованием в СССР и других коммунистических странах негодных методов и намеренным уничтожением всех обратных связей, необходимых в любом обществе;

— распад соцсодружества, СССР и кризис коммунизма спровоцировали сильнейшую дискредитацию и кризис социалистической идеи в мировом масштабе;

— разумеется, многое в изначальной социалистической гипотезе неизбежно должно было быть пересмотрено по итогам практического опыта; многое требует сейчас глубочайшего переосмысления в свете как фактического мирового развития, так и произошедшей эволюции научных представлений;

— в то же время безусловно подтверждена ставка на принципиальную познаваемость мира и на возможность его осознанной трансформации в лучшую для человека сторону;

— драматически доказана абсолютная необходимость опережающего развития системы обратных связей в обществе, государстве и между ними для повышения качества общественной жизни (что включает демократизацию, но несводимо к ней одной);

— еще более драматически продемонстрировано, что в области наук об обществе и человеке мы исторически находимся еще только в самом начале процесса познания (примерно соответствующем состоянию естественных наук в античном мире);

— ясно, что центральную духовную дилемму европейской культуры необходимо решать путем не механического предпочтения индивидуалистического либо общественного начала, но исторически и социально конкретного поиска их синтеза, их оптимального в данных условиях сочетания;

— только сейчас становится ясным определяющее для хода и результатов социального развития значение тех перемен, что происходят и накапливаются со временем не просто в содержании общественного и индивидуального сознания, но особенно в исторически достигнутом качественном уровне внутренней организации и структуры самого сознания, в типе мышления, доминирующем на статистически значимом социальном уровне.

9. Попробуем спроектировать все эти рассуждения на поставленные в п. I. вопросы.

А. Рассмотренные нами функции идеологии как явления носят объективный характер и не зависят ни от содержания конкретной идеологии, ни от конкретной социальной практики. Поэтому идеология как явление безусловно будет существовать и дальше и в известных нам, и в новых исторических ее формах.

Естественно, все конкретные аспекты идеологии будут эволюционировать. Но идеология как явление не только не исчезает: с повышением практических возможностей и расширением духовных и познавательных горизонтов человечества век идеологий только начинается. При этом необходимо ожидать не доминирования какой-то одной «супер-идеологии», но закрепления их множественности, которая постепенно станет переливаться в систему идеологий.

Б. Что касается практической стороны дела, то перед человечеством объективно стоит задача выживания, которое может быть обеспечено

только через социально ответственное мировое развитие; разумное распоряжение ресурсами планеты и достижение равновесия человека с природой; глобальную координируемую деятельность; многократное усиление всех обратных связей; развитие всех сфер знания.

В сфере идеологии подобным требованиям может отвечать только научная и только коллективистская идеология (либо система таких идеологий). Можно сказать иначе: выживание и восходящее развитие человека на путях цивилизации может быть обеспечено только научными и коллективистскими идеологическими системами. По всем основным признакам и параметрам ближе всего к таким системам стоит сейчас социалистическая идея.

Однако эволюция явления и конкретной идеологии во времени не прямолинейна. По-видимому, и тут тоже мы имеем дело со своеобразной цикличностью соответствующих процессов; но это уже отдельная тема.

Пеев Г. И.
(Санкт-Петербург, Россия)

ХРИСТИАНСКОЕ НАСЛЕДИЕ В СЕКУЛЯРИЗОВАННОМ МИРЕ

Современную новоевропейскую цивилизацию справедливо называют антропоцентрической. В центре ее внимания находится земной человек с его земными нуждами и заботами. Этим она отличается от теоцентрической цивилизации средневековья, из которой она выросла, где центром притяжения оказывался трансцендентный христианский Бог, религия, связанная со служением ему. Не случайно, поэтому, первый серьезный кризис средневекового миросозерцания в эпоху Возрождения сопровождался обращением к античному наследию, неотделимому от язычества, обожествлявшего земное. Однако не только Возрождение, но и 17 и 18 вв. постоянно обращаются к античным образцам, а Великую французскую революцию можно рассматривать, помимо прочего, как грандиозную попытку воплотить эти образцы в жизнь. Тем не менее, восстановления античной цивилизации не произошло, и уже 19 в., с присущим ему духом историзма окончательно отвел ей скромное, хотя и почетное место в европейской истории.

Современная секуляризованная цивилизация сознает свое радикальное отличие от языческой античности, несмотря на то, что вместе с ней оказывает предпочтение земному, а не трансцендентному. Очевидно, это связано с ее происхождением из христианства, оттесненного ныне на ее задворки, в сферу частной жизни. Видимо, принципы христианства вошли в ее состав и определили некоторые ее параметры при всем ее равнодушии к религии вообще и к христианству в частности, удачно маскируемом религиозной терпимостью. Выясним некоторые из этих принципов, играющих в ней не последнюю роль.

Языческая античность обожествляла природу, и для нее божественным в пределе становился сам космос, хотя этот космос, в его предельном выражении, и не совпадал с космосом эмпирическим, как не совпадал с ним, например, и платоновский мир идей. В такой ситуации познать его означало отнести к нему созерцательно, постичь его таким, как он существует сам по себе. И за такой установкой крылось благоговейное отношение к нему. Но и каждая вещь должна быть понятой такой, как она существует сама по себе. Только тогда она займет, по мысли Аристотеля, подобающее ей «естественное место» в упорядоченном космосе, ибо познать

вещь таким образом и означает определить ее подлинную цену и место. Сам же космос и есть гармоническая совокупность естественных мест.

Христианство внесло в эту картину принципиальные изменения, в чем-то, правда, сохранив ее. Согласно ему, земное само по себе, включая человека, — и ничто, и ничтожно. Оно возникло из ничто творческим актом Бога и в ничто превращается. Земное тварно и обретает смысл не само по себе, а трансцендируя за свои пределы, в своем отношении к Богу. Средневековое символическое миросозерцание, обращаясь к природе и ее явлениям, повсюду находит в них отблеск Божества и свидетельства о нем. В отношении к Богу тварный мир упорядочивается. Каждая вещь занимает подобающее ей место. Так, аристотелевский космос, с соответствующими корректировками, перекочевал в труды средневековых схоластов.

Секуляризация возрождает античный интерес к природе, к природным явлениям и процессам, в том числе и к самому человеку как к природному существу. Земное и существование в его рамках является теперь основным содержанием человеческой жизни, вытесняя остальное на периферию. Однако опыт христианства не прошел бесследно. Современный секуляризованный человек уже не может обожествлять природу и относиться к ней по-антиному благоговейно-созерцательно. Сама по себе природа ничтожна и по-прежнему исчерпывается отношением. Но теперь это уже отношение не к Богу, а отношение к человеку. Именно в этом отношении к человеческому и для человека природа оказывается всем, оставаясь ничтожной сама по себе.

Парадоксальное сочетание признания ничтожности земного с утверждением его первостепенной значимости для человека мы наблюдаем в выдвижении практически-утилитарной активности на первый план в системе человеческих ценностей. Пафосом подобной деятельности проникнуты уже сочинения одного из основоположников современной философии Фр. Бэкона. Ныне же она развернулась в колоссальных масштабах, хотя, возможно, без прежнего пафоса. Ничтожность земного в преобразовательной деятельности выражается уже в том, что его преобразовывает человек, а на первый план оно выступает потому, что в этой деятельности видится основное предназначение человека. Человек обрекает себя на то, чтобы всерьез заниматься тем, что в себе ничтожно. Утилитарный аспект преобразовательной деятельности заключает в себе ту же двусмысленность: земное в себе ничтожно, и поэтому оно — только средство для человека. В то же время земное для него — все, ибо человек захвачен страстью обращать все в средство. Подобный тип преобразования М. Хайдеггером называется «поставом». В подобной преобразовательной деятельности и человек, и

окружающая его действительность в себе ничтожны и обретают смысл только в этом взаимном отношении друг к другу. Но поскольку каждый из них суть в себе ничто, такое отношение к другому есть в то же время отношение к ничто, трансцендирование в ничто.

В средневековом религиозном миросозерцании каждая тварь находит себя в отношении к Богу. В секуляризованном мире современности она также обретает себя в отношении, но уже не к Богу, а к ничто, которое и является предельным выражением земного для христианина, если брать земное помимо его отношения к Богу. Таким и берет его современный человек. Есть некая исходная неоднозначность в выражении «обрести себя в ничто». Как можно выявить себя в том, что уничтожает всякую самостоятельность, лежащую в основе обретения себя? Как можно найти себя в том, что делает ничтожным, несамостоятельным? Очевидно, в подобном отношении вперед выступает само отношение, а самостоятельность соотносящихся сторон сводится к нулю. Стороны вполне исчerpываются взаимным отношением, не представляя собой ничего, кроме него.

В результате вся действительность сводится к системе безличных отношений. Отношения внутренние очерчивают границы данного процесса, отношения внешние характеризуют его связи с другими процессами. Отдельные звенья подобной действительности и вся она в целом при всей кажущейся эфемерности обладают необыкновенной прочностью. В самом деле, как раз потому, что процесс не самостоятелен и сводится к совокупности отношений, отношения эти приобретают удивительную прочность. Самостоятельность предмета, в ее живых, меняющихся проявлениях, нарушала бы неизменность отношений.

Такой мир безличных отношений, прочных несамостоятельностью соотносящихся сторон, мы наблюдаем в новоевропейской науке, законы которой, по выражению Лейбница, отличаются «всеобщностью и необходимостью» и выражимы математически. Эта наука — экспериментальное естествознание — и заключает, по мнению современного европейца, подлинное знание о природе.

Античная наука стремилась познать каждый предмет и космос в целом, как они существуют сами по себе. Для нее он выступал в качестве чего-то самостоятельного, как, впрочем, и любое явление в нем. Понять мир таким образом — значит принять в качестве модели для его объяснения организм, ибо именно он способен к самостоятельности, к самоопределению. А. Ф. Лосев писал, что в античности моделью для понимания космоса служило живое тело. Наука средневековья имела дело с природ-

ными процессами в их отношении к источнику жизни, к Богу. Она сохранила органическую модель вселенной.

Первым образом вселенной в современной науке стала механистическая картина мира. А моделью для понимания действительности более, чем на два века, оказался механизм. В свою очередь, философия не одно столетие изгоняла из науки следы организмических представлений. Результатом трансцендирования в ничто явилась утрата телом самостоятельности. Живое тело, наделенное «симпатиями и антипатиями», было сведено к мертвой инертной массе. А когда операцию проделали, не представляло трудности редуцировать его к системе жестких математически выражимых отношений в рамках лапласовского детерминизма. Инертная масса не способна возмущаться.

Неклассическая физика, несмотря на разрыв с механистическим прошлым, сохранила, а возможно, и усилила основную тенденцию новоевропейской науки: свести предмет к отношению, лишив его самостоятельности в себе. Так об элементарной частице физик судит только по показаниям прибора, не решаясь утверждать что-либо о ней самой по себе. Корпускулярно-волновой дуализм понимает ту же частицу через соотношение свойств волны и корпускулы, и этим соотношением исчerpывает ее определение. Примеры подобного рода можно было бы продолжить.

Подведем итоги. Современная секуляризованная цивилизация, оттеснив христианство на периферию своей жизни, продолжает, тем не менее питаться его фундаментальными интуициями. Утвердив земную жизнь человека в качестве высшей ценности, она попрежнему понимает самое земное вне его отношения к Богу как ничто. Явления действительности, как это принято в христианстве, рассматриваются не сами по себе, но в отношении. Правда, само христианство берет их трансцендирующими к Богу, а в секуляризованном мире они трансцендируют в ничто.

Казин А. Л.
(Санкт-Петербург, Россия)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
КАК ДУХОВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
(к вопросу о Русской Идее)

Народ — это соборная душа, коллективная личность, включающая в себя как живущие поколения, так и уже ушедшие и еще не родившиеся. Выдающийся русский мыслитель В. С. Соловьев под идеей нации понимал «не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» (1). Т. о., путь каждого народа, как и каждого человека, уникален в истории. Он может быть узким и трудным, либо широким и гибким. Например, в отношении большинства стран Западной Европы, как и Американских Соединенных Штатов, верно, на мой взгляд, работает положение о господстве материального бытия над общественным сознанием, экономики — над культурой и государственной властью. Что представляет собой в этом плане Россия, где выгода (собственность, прибыль и т. п.) никогда не определяла собой национального бытия — ни при царях, ни при коммунистах? Размышляя об этом, последуем по указанному Соловьевым пути, опираясь на исторические факты.

История России представляет собой цепь тяжелых испытаний. Расположенная на стыке Востока и Запада, Азии и Европы, не защищенная от их давления никакими естественными рубежами (горами, морями и т. п.), Россия за тысячу лет своего государственного существования неоднократно отражала набеги дальних и ближних соседей (нашествия Батыя, Наполеона, Гитлера). Каждый раз, спасая от нападения себя, Россия — ценой собственной крови — спасала от него весь мир. Мы можем с полным правом сказать, что «Стояние на страже» — защита мира от посягательств разного рода губителей и вообще злых сил, — входит в состав Русской Идеи. Если бы это было иначе, разве присоединились бы к ней многие народы — к примеру, Украины, Казахстана, Грузии, искавшие в России покровительство и защиту? Разве освободились бы Балканы от турецкого ига? Разве заступилась бы Россия в 1914 за маленькую Сербию, что послужило формальным поводом для объявления Первой мировой войны?

Что составляет духовные и историко-культурные истоки подобного — миросохраняющего — статуса России? Обращает на себя внимание то постоянство, с которым Россия выходила победительницей из самых, казалось бы, безнадежных исторических ситуаций. В 13 в. Русь лежала в ру-

инах после татарского погрома, — однако в 1380 она победила на Куликовом поле. В 1612 поляки были в Кремле, — однако спустя 160 лет Польша стала провинцией российской державы. В 1812 Наполеон сжег Москву, — но всего через год русские войска вошли в Париж. В 1941 немцы, встав у Москвы, рвались к Волге, — и что из этого вышло? Прав был замечательный поэт и мыслитель Федор Тютчев: «Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор довольно успешно. Истинный защитник России — это история; ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым она подвергает свою таинственную судьбу...» (2).

Таким образом, объективного взгляда на историю нашего отечества достаточно, чтобы обнаружить некую идею, духовный и смысловой стержень, держащий на себе Россию уже более тысячи лет. Разумеется, это — Православие, христианская вера, надежда и любовь. В 1988 Россия отмечала тысячелетие своего Крещения как государственный праздник: это была дань признания не только прошлому, но настоящему и будущему. Со времен князя Владимира Русь «всерьез» приняла христианство: по свидетельству современников, Владимир даже отказался карать преступников, опасаясь войти тем самым в противоречие с христианской милостью. Согласно «Слову о законе и благодати» митрополита Иллариона (11 в.), в православии формальный «Закон отошел, и Благодать и Истина всю землю заполнили» (3).

Как писали в первой половине прошлого века наши крупнейшие философы И. В. Киреевский и А. С. Хомяков, принятие Русью православия означало принятие ею христианства, не искаженного особенностями латинского (римского) вероисповедания. Это оказало решающее влияние на всю последующую русскую историю и просвещение, вплоть до 20 в. Недаром первая русская летопись — «Повесть временных лет» (12 в.) — это христианская самооценка Руси, а гениальное «Слово о полку Игореве» — это история поражения («посрамления») князя, поставившего свою славу выше соборного единства русской земли.

Таково же было происхождение образа Третьего Рима несколько позднее, в 15—16 столетиях. Третий Рим (Москва) — это именно христианское государство, где отношения между народом (обществом) и царем строятся на доверии, где обожествляется не сам царь как носитель власти, а ответственность царя перед Богом за его страну. Точно также экономические, политические, культурные и даже личные взаимосвязи между людьми освящались на Руси лишь в той мере, в какой они являлись выр-

ажением духовной установки на бытие. Богатство и знатность, разумеется, ценились, но не абсолютизировались.

Православная вера, т. о., стала на Руси основой жизни. В отличие от Западной Европы, Россия не создала такой срединной, нейтральной «буферной зоны» цивилизации, где человек чувствовал бы себя независимым от Бога и государства, понятого как отображение вечной истины на земле. Это, безусловно, ограничивало гуманистические — собственно человеческие — возможности русской культуры, зато крепко связывало ее с коренными смысложизненными заповедями христианства. Можно сказать, что вся русская история была — и остается до сих пор — поиском правды на земле.

Прибегая к социологическим понятиям, следует признать небуржуазный характер русской истории и культуры. Быть может, единственная из европейских стран, Россия не испытала в полной мере влияния Возрождения, Реформации и Просвещения, хотя зачатки и того, и другого, и третьего у нас имелись. Значительно отставая от цивилизованного Запада в формировании активного начала культуры — довлеющей себе индивидуальности, — Россия и в условиях последних столетий сумела сохранить и претворить в новую форму соборный характер своей духовной и общественной жизни. Вплоть до февраля 1917 буржуазия не имела у нас политической власти. Что же касается авторитета в области миропонимания, науки, искусства, нравственности, то такого авторитета она не имела никогда (4).

Россия, именно вследствие соборного идеала своего национально-исторического существования, сберегла на протяжении новейшей истории нечто чрезвычайно важное и, к сожалению, почти утраченное просвещенным Западом — христианский, устремленный к Богу, смысл общественной жизни и труда. В русской истории и судьбе осуществлялось осознанное (и еще в большей степени неосознанное) противостояние подобному мещански-материалистическому низложению истины о мире и человеке. Ценность личности предполагает сверхличные ценности. Это стало исходной позицией, при всем различии мировоззрения и творчества, для Рубleva и Аввакума, Пушкина и Толстого, Мусоргского и Рахманинова, Блока и Есенина, Клюева и Твардовского, Распутина и Солженицына. По сути дела, из таких сверхличных ценностей исходила и русская государственность, какие бы жесткие формы она при этом ни принимала.

Эти черты исторического пути России в полной мере проявились в 20в. — веке войн и революций. С точки зрения традиционной отечественной духовности, Октябрьская революция 1917 может быть названа «рус-

ским соблазном» — соблазном немедленного построения рая на земле. Сила этого соблазна состоит в том, что он уходит своими корнями глубоко в прошлое и завершается в коммунистической России превращением духовности в революционность, хриситанской жертвенности — в коммунистический геройзм, общинности — в классовость. По словам Н. А. Бердяева, Третий Рим в России стал Третьим Интернационалом (5).

Писатели и философы «серебряного века» (в том числе сам Бердяев) немало способствовали тому, чтобы народная мечта «о жизни по правде» соединилась с революцией на почве так называемого «нового религиозного сознания» (Д. С. Мережковский). Поэма Александра Блока «Двенадцать», в которой двенадцать красногвардейцев предстают новыми апостолами, предводительствуемыми самим Христом, имеют внутреннюю связь со словами революционной песни: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это...»

Смерть перед Богом — или перед Революцией — оказывается ценнее жизни, взятой самой по себе, в ее обывательско-гедонистическом измерении. Так, в 17—18 вв. старообрядцы самосожигались и бежали на Беловодье потому, что не хотели служить антихристу; в первой половине 20 столетия русские революционеры (в широком смысле этого слова) разрушали мир до основания, ибо надеялись таким образом излечить его от заразы сырой самодостаточности, душевного и телесного жира.

По существу демократия только начинается с осознания общей всему народу «любимой мысли», то есть всенародного нравственного основания, на котором данный народ хочет и может построить свою жизнь. При отсутствии такого основания, или при закладке в это основание обывательских вожделений, выдаваемых за идеальные общечеловеческие и национальные интересы, — колossalное российское государство с грохотом обрушится и похоронит под своими обломками своих соседей на Западе и Востоке. Разрушение последней христианской державы — не такое легкое дело, как это представляется иным близоруким людям. Русская государственность всегда балансировала на грани между православным царством и хилиастической утопией. И не привычка к патриархальной опеке тут причина: вопреки буржуазно-демократической рыночной цивилизации, где все в конечном счете решают деньги, в сердце нашего народа до сих пор живет вера в то, что удобнее «верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие...» (6).

Русская идея — это не чья-то выдумка или миф, а историческая и социальная реальность, на почве которой тысячу лет стоит наша держава. По своему духовному содержанию это христианская идея жизни не по вы-

годе, а по правде: она не имеет ничего общего с хищническим самоутверждением одного народа за счет другого. Грубый национализм вообще никогда не был свойственен России; великорусский крестьянин Михаило Ломоносов, русский дворянин с примесью африканской крови Александр Пушкин, украинец Николай Гоголь, грузинский князь Петр Багратион, еврей Исаак Левитан одинаково потрудились для Русской идеи.

В свое время Федор Достоевский говорил о том, что Православие и есть наш русский социализм. Таково, думается, будущее Русской идеи, если ей суждено выжить. Как писал Г. Федотов, «Мир, быть может, не в состоянии жить без России. Ее спасение есть дело всемирной культуры... Надо понять, что позади нас не история города Глупова, а трагическая история великой страны, ущербленная, изувеченная, но все же великая история. Этую историю предстоит написать заново» (7).

Библиография:

1. Соловьев В. С. Русская идея. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М. 1989. С. 220.
2. Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. Спб. 1900. С. 475.
3. Идейно-философское наследие Илариона Киевского. Ч. 1. М. 1986. С. 45.
4. Подробнее об этом см.: Казин А. Л. Образ мира. Искусство в культуре XX века. Спб. 1991.
5. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990. С. 118.
6. Мтф. 19 : 24.
7. Федотов Г. П. Лицо России. // Литературная Россия. 1989. 29 сентября. С. 16.

Opeide G.
(Tromso, Norway)

ON THE PROBLEM OF BIG SOCIETY IN RUSSIA

Although a bit confused whether historiosophy is supposed to mean something else than philosophy of history or not and, consequently, about the thematic focus of this conference, I think after all that it is safe to assert that Alexander Akhiezer is an outstanding figure in contemporary Russian social thought imbued with macrohistorical or historiosophic perspectives. Before I «discovered» him a year ago, I had developed some ideas of my own on the peculiarities of Russian history. In Akhiezer I found a line of historico-sociological reasoning which paralleled mine in some important respects. Especially stimulating I find his sociological concreteness and complexity which in the main permits him to avoid the eternally antagonistic superhistorical social genotypes that tend to pervade a lot of the latest writing on Russia's historical destinies. He would have been even safer if he had kept a little bit more of a sound historical materialism, for instance that of Plekhanov.

In this paper I want to give a necessarily very brief account of my own ideas, mainly as they had taken shape before my acquaintance with Akhiezer, though at a few points I will refer briefly to him and his terminology.

In a discussion amongst Nordic slavists two years ago about the conventional European-Russian dichotomies — West: freedom, liberalism, individualism etc.; — East: power, authoritarianism, collectivism etc. — some discussants drew attention to facts which did not seem to fit easily into the model. How should we account for hesychasm and the asocial, egocentric, if not individualistic eremit monks? What about the archetypically Russian Воля and the social atomization in Soviet urbanization? Lately we can add

the remarkable tendency for any Russian politician with ideas and ambitions of his (or her) own to set up his own political party. On the other hand, it was pointed out that what essentially characterizes the modern Western individual are his complex group and organizational ties rather than isolation and selfcontainment.

While still holding the conventional model as principally valid, how should we account for such incongruities?

Firstly, by emphasizing an aspect of the genesis of the modern European individual I want to throw light on the difference between the Russian and the European course from the village to the metropolis. Secondly, I shall mediate upon the difference between two sociologically distinct forms of free-



dom, not least in view of the slavophile opinion that there was more freedom in Russia than in the West.

By exploiting insights in Georg Simmel, I propose the slightly paradoxical idea that the Russian man developed late and imperfectly to a modern, autonomous individual because Russia was so poor in groups and collectives different from the primary collectives. If locked up in this primary collective,

the member of the village community remains a collectivist. Liberation and individualization means not just breaking loose from the constraining bonds of this collective, but is preconditioned upon involvement in other, foreign collectives. The modern European individualism is an essential quality of men who have become involved in an increasing amount of social groups and networks that intersect each other. It is thus a certain kind of social density and complexity which set its stamp on European history and makes it different from Russian history.

Freedom has had many historical forms. Sociologically, however, I single out two principal forms, or types of freedom. Correspondingly, there are two forms of authority and constraints that complement and structure the freedom. The freedom of the group, **small or big**, and the freedom protected by the group, is the first of these principal forms. Historically, the freedom of the small group, e. g. the village, or the family, is the primary one. The inner authority and the freedom of the small group are closely interrelated. The authority of the village is in a sense its culture. It is very conscious of frontiers and outsiders etc. Its freedom is **freedom from the big world**. This type of freedom is essentially **one to be defended**, against enemies (e. g. the King's men), strangers, intruders, subversives etc.

In the second type of freedom we are speaking of the individual who leaves behind the warmth and safety of the small group to try his luck in the big world and eventually joins new and larger groups. When I say that this freedom is essentially **one to be achieved**, I have two things in mind. First, it implies **liberation from the small world**, outgrowing the social basis of the freedom of the first type. This is historically preconditioned upon socio-economic processes which tend to undermine the cohesion of small groups and integrate them into larger units, eventually into big society, whose members cannot relate directly and personally to each other. Secondly, since I have to pay for this liberation by greater dependence upon the big world, I want this dependence to be structured and controlled by agencies which are to my liking (or, in which I might even have the right to participate myself) and in ways that I can accept as fair and lawful.

Larger groups are created; they have also their frontiers, of which their members may be more or less conscious; they may think of their relation to

the world outside the frontier in terms of «we — they», in terms of their freedom and independence from the big world. Ever larger social units, including the twentieth-century national state, may relate to the rest of the world in principally the same ways as did the village. A national state, a fatherland, may take up arms to defend its freedom. There has in our century emerged a new level with a social complexity and extent that by far surpasses that of the national state, and actors may pursue their goals by liberation from the fetters that the national state imposes on them. Those seeking freedom on a higher level of social complexity may be perceived as traitors by the champions of the freedom of the lower level.

Ideally, the two types of freedom should not be seen as intrinsically antagonistic or irreconcilable. The opposite rather should be sought for: we are all members of groups and collective of different kinds and sizes and have a fair stake in their maintaining a reasonable degree of freedom, while our personal freedom and autonomy as individuals refutes all claims on the part of any of the groups to possess the whole of our lives and personalities.

Historically we are speaking of the process leading from the local worlds (локальные миры) to big society (большое общество), to use the terms of A. Akhiezer. It is not the Russian local worlds in themselves that are so different from the Western ones, it is rather the way in which the big society came about.

The Russian big society was less the product of spontaneous sociological processes than in the West, it was more similar to the monarch's establishment. It grew from above rather than from below. The Tatar domination and

the exploitation represented a kind of centralizing factor, it prefigured the extension of the realm of its Moscovite inheritors, a realm that got far greater dimensions and political power than could have been attained on the socio-economic basis alone. The state unity and centralization that Moscow achieved, was, as it were, premature and, consequently, superficial.

The corresponding sociological processes were weak; the people remained in their primary collectives. Few, if any, sought to liberate themselves from their local worlds and outgrow their social bases, to engage in activities on a scale that corresponded more to the political dimension.

When we study comparatively Russian and European history in terms of group and community formation and the emergence of new forms of authority, one of the first and most important things that come to our minds is the urban development. The famous dictum on the European medieval town gave

the immigrants freedom from the authority structures — be they hierarchical or horizontal — of the local world they left behind. But in the town, they saw themselves confronted with new forms of authority, new disciplining agencies;

they were obliged to join new types of community, new groups which sought to consolidate and strengthen themselves by imposing specific sets of rules upon their members; all of which both meant new constraints and offered new opportunities.

It is impossible to say of Russian towns that «Stadtluft macht frei». Russian towns were never autonomous as towns were in the West (one can possibly discuss whether Novgorod and Pskov were exceptions from the rule). The town was not a place to seek figure, acquire freedom and to escape from

the bonds of the rural world. To enter the town was — unlike the Western experience — not like entering another world. In view of the thousands of pages that have been written on the consequences of this missing experience of urban autonomy, I would like to underline the other side that in the long run might have been equally important for the difficult development of freedom in Russia. The town as generator of new forms of freedom and **authority** was virtually non-existent in Russia. Unlike the Western medieval town, the Russian town had little significance as creator of new forms of discipline, social bonds, communality and corporatism.

Yet, Russian peasants fled from their bonds, from the authorities; they did so presumably much more than peasants in the West. However, they did not flee to the town, but away from «civilization», into the forests, to the steppe, to **Воля**. Not the air of towns, but the air of the forests, later the steppe, made free. Even in the beginning of our own century the opinion was widespread that there was still much of the nomad in the Russian peasant.

It is conventional wisdom that the Russian state weighed heavily on society. On the other hand, big society was tied down in a sea of localisms; or, to apply Ferdinand Tonnies' famous dichotomy, there was not yet much **Gesellschaft** in Russia, most of it was **Gemeinschaft**, which gave the slavophiles reason to celebrate pre-Petrine Russia. It was only that part which was **Gesellschaft** that was intensively dominated by the state power. In its efforts to extract, mobilize and centralize the resources of the **Gemeinschaft**, the state became a predator, and not a very efficient one; the relationship was very simple. In Russia there was no organic growth of new authority forms and disciplining agencies which the government could learn from and eventually exploit. Its own attempts to introduce such new forms were very feeble, although historians often have made remarks on the Russian rulers' administrative ingenuity and their ability to find practical solutions to difficult problems. Nevertheless, we should admit that their repertoire was rather poor. Mainly, the rulers tried as best they could to exploit the existing, local forms of authority and to incorporate them wholesale in larger, vertical structures, e. g. the systematic use of the institute of **круговая порука**,

and the **губа** and **земские** reforms from the 1530—1550 s, sometime described as attempts to introduce local self-government.

When the state thus in its mainly primitive ways superimposed itself upon the authority structures of the local worlds and made them increasingly or periodically intolerable, the reactions took on unstructured, evasive and anarchistic forms, the archetypic Russian **Воля**. Or, in terms of the group perspective, liberation in a barren social landscape, where no alternative groups and collectives were available, assumed the forms of flight or rebellion. **Воля** is a socially regressive kind of freedom. Freedom in modern conditions seeks a social basis of higher complexity than the freedom of the primary groups. **Воля**, however, takes the opposite direction, towards social regression and simplification.

By adopting Western models and methods, the state should have been able to make the control and the exploitation of the country more efficient, to increase the proportion of **big society** relative to the local worlds. But in

the main only the very upper layers of the social pyramid were effected. It has been remarked that the modernization and europeanization of Russia by Peter the Great was paid for by intensification of several backward traits, «oriental» ways etc., in case of the serfdom. Economically, the members of the elites in this still agrarian empire had connections only to their respective estates, i. e. local worlds which continued to live in self-sufficient isolation. The villages formed networks only insofar as their masters took part in the capitals' social and cultural life.

This is one of the reasons for the insignificant role of the concept of law. Firstly, the growth of the **Rechtsstaat** being a centralization phenomenon, law was worthless as a means to defend the primary collectives against encroachments from big society; on the contrary, by positing the individual as the main subject of law, it would tend to undermine the groups. At the same time there was in the part of the people considerable hostility against written law, against contracts and documents of all kinds. Experience had taught that this often entailed conceit, compulsion, enslavement and oppression. Secondly, what the great as well as the small autocrats regarded with considerable skepticism and fear were legal definitions of their authority. The rules as well as the ruled were skeptical to written law and the rule of law because it would restrain the freedom of both.

All of this is part of the historical context of the cognitive phenomenon that Akhiezer calls extrapolation: big society is perceived as being essentially of the same kind as the local world, just of another and larger scale. A kind of guarantee for this, i. e. that the big society conserves the qualities of the local world, is the myth of the tsar, the **totem**, according to Akhiezer.

The paternalistic image of the tsar is a striking product of extrapolationist thinking, e. g. in Karamzin:

«В России Государь есть живой Закон. [...] Не бояться Государя — не бояться и закона! В Монархе Российском соединяются все власти; наше Правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола, — так и Монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести».

What did not fit into this extrapolation model — e. g. bureaucrats and educated gentry, later capitalists, the real representatives and constituents of big society, were regarded as aliens and enemies.

In our context we can view the Soviet political project from two perspectives. The first one was that of Bolshevik leaders; the second that of the masses.

The leaders wanted to realize a communist ideal; they stood for modernization, the universal, rational, centralization etc. All this should imply an extreme emphasis on big society. The masses, however, represented **стихия**, they strove for the return to the elementary freedom of local worlds, to a society «без начальства и без буржуазии», the liquidation of **кривда** and

the restoration of **правда**. There were, of course, deep and principally irreconcilable contradictions in the bolshevik's perspective, and the interplay between them helped the bolsheviks to form a kind of **modus vivendi** with the masses' perspective.

The principal problem in the bolsheviks' perspective was the following: a big society, simply on account of its complex nature, does not permit an ideological blueprint to be imposed on it. When the Soviet leaders tried all the same, it resulted in a tendency to relieve the society of its complexities and to burden the leaders and the planners with them instead, making them figure as giant, as new totems. The leaders arrogated the disciplining resources of big society to themselves. For the people that produced a simplified social system, social regression, where the personal factor weighed heavily on

the institutional. In a certain degree the people had their ideals and wishes realized, i. e. they had the big society just as a bigger variant of their local worlds.

One aspect of the communist ideal and at the same time an extreme form of extrapolationist thinking was the attempt to construct the Soviet polity, i. e. big society as one grand collective, «единая большая община», with unified moral and social bonds equally natural and internalized as in the traditional local communities, an idea that goes at least as far back as to the slavophiles (as Akhiezer points out). On behalf of this big, perhaps «imagined» community

the leaders pursued policies as would pursue any group, small or big, that fears what is beyond its frontiers: closed borders to avoid group pollution and

disintegration, large defense expenditures, a defensive, struggle-minded style of politics, cultivation of enemy images, voluntarism etc. What made for emotional affinity between the people and the regime was the one-sided concentration on the group-type of freedom on all levels of social complexity. On the level of big society, or the socialist fatherland, the same type of freedom was experienced as on the level of the local worlds. The term «страна советов» catches, as it were, this identity. People passed from the lower to the higher level without

the intermediate stage where individuals break up the primary groups and form larger and more complex groups in basically spontaneous sociological processes, the stage of disintegration and reintegration. This has a certain parallel to

the **народники**'s dream of skipping the capitalist stage on the way to socialism.

One can pass many judgements on M. Gorbachev, **перестройка**, and the post-1991s. Yet, following the line of argument in this paper, I shall emphasize one result of **перестройка**. One of its fundamental ideas, the idea of separating political and economic life, of limiting the sphere of political competence, has been realized: What the Soviet state once arrogated to itself, the complexities of a big society, has been restored to society.

Even if the Russians on balance are unhappy with this gift so far, they do not seem to want seriously to get rid of it by returning to communism. It is not yet possible to say what will be the future for democracy, freedom and

the **Rechtsstaat**. However the political development will turn out, I see no possibility for a Russian state to take back the complexities and reconstruct

the planning system. On the other hand, the people have still the possibility to get rid of parts of the complexities through a continuous disintegration of Russia, regression of big society back to more local, intelligible and simpler worlds.

Юрьев А. А.
(Санкт-Петербург, Россия)

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ В МИРОВОЙ ДРАМЕ Г. ИБСЕНА «КЕСАРЬ И ГАЛИЛЕЯНИН»

1. Освоение философско-исторической проблематики — процесс, не ограниченный областью научного познания. Вопрос о смысле и цели истории по природе своей тяготеет к широким мировоззренческим обобщениям, не поддающимся строгой научной верификации. Поэтому сциентистский подход не является продуктивным при решении фундаментальных проблем историософии. Их телеологический характер генетически связан с религиозно-мифологическими представлениями, на что указывали многие мыслители (в частности, Николай Бердяев). Способ осмыслиения исторического процесса нередко определялся оценкой этой связи. В эпоху широкого распространения позитivistской идеологии (2-я половина 19 в.) религиозный и метафизический аспекты философии истории многим представлялись анахроничными. Тем не менее, в художественной мысли того времени неоднократно делались попытки их актуализации, предвосхищавшие религиозно-философские поиски рубежа 19—20 вв. Один из ярких тому примеров — «мировая драма» Генрика Ибсена «Кесарь и Галилеянин» (1873).

2. Драматическую дилогию «Кесарь и Галилеянин» Ибсен всегда считал главным своим трудом, вершиной, ни разу им более не превзойденной. Эту оценку до сих пор не разделяет большинство историков литературы, что объясняется преобладающим взглядом на Ибсена как на создателя проблемной социально-критической драмы. Между тем, «Кесарь и Галилеянин» занимает исключительное место как в ибсеновском наследии, так и в целом в европейской драме 19 столетия. По широте и грандиозности замысла дилогия сопоставима с «Фаустом» Гете и вагнеровским «Кольцом nibелунга». Вместе с тем, реализованная в ней концепция — явление уникальное и позволяющее по-новому осмыслить ибсеновское творчество как исходную fazu в истории «новой драмы».

3. Создание дилогии подвело итог длительным поискам Ибсена в области исторической драмы. Их целью было сочетание принципов историзма и художественного мифологизирования. Свое кредо драматург четко сформулировал уже в ранний период — в заметке «Профессор Вельхавен о мифологических поэмах Палудана Мюллера» (1851) и теор-

етической работе «Богатырские песни и их значение для искусства» (1857). Находясь под влиянием идей Гегеля, Ибсен оказался также близок романтикам с их приверженностью к мифотворческим концепциям. Определяя миф как «союз истории и воображения», драматург утверждал его «бесконечность», неуничтожимую жизнеспособность. В мифе, по Ибсену, содержится объективная истина, возникающая из глубин народного самосознания. Проходя различные этапы исторического развития, подвергаясь любым метаморфозам, народ не может утратить своего сущностного духовного облика. Тот же закон применим и к историческому «развертыванию» мифа, который всегда остается универсальной моделью, каждый раз вновь и по-новому воспроизводимой. Убежденность, что художник призван не изобретать новое, а обретать его в унаследованном от предков духовном достоянии, имела принципиальное значение в ибсеновском творчестве.

Однако соотнесенность истории и мифа представляла в произведениях Ибсена по-разному. В «Воителях в Хельгеланде» (1857) миф низведен к человеческим масштабам и обретает смысл лишь в контексте исторической коллизии. В «Борьбе за престол» (1863) история и миф предстают в новой, более сложной взаимосвязи. Здесь намечена обратная зависимость: не история истолковывает миф, но миф становится средством общения. Суть художественных поисков драматурга состоит на этот раз не в том, чтобы увидеть историческую коллизию за личными судьбами, заданными сюжетной моделью мифа, но в том, чтобы выявить в исторической динамике некие вечно сохраняющиеся константы. Такая задача не могла не привести Ибсена к новому осмыслиению центральной для него проблемы.

Дальнейшее расширение границ историзма подвело Ибсена к созданию грандиозной историко-мифологической драмы «Кесарь и Галилеянин», в которой, по словам самого автора, «дело идет и о небе и о земле», «трактуется борьба между двумя непримиримыми силами мировой жизни, — борьба, которая повторяется постоянно во все времена». Эти силы обретают в пьесе символические имена: Логос и Пан, Кесарь и Галилеянин. Дать им аллегорическое толкование, полностью свести конфликт к земным событиям, лишь обобщаемым и поясняемым мифологическими параллелями, значило бы исказить самую суть авторского замысла. Миф обретает в дилогии статус подлинной онтологической реальности, история становится эсхатологией.

4. Замысел драмы о Юлиане Отступнике впервые возник у Ибсена в 1864. Его эволюция продолжалась почти десятилетие, отразив важнейшие перемены в авторском мировосприятии. Обращение к позднеантичному

материалу было связано с отходом Ибсена от узко национального взгляда на исторический процесс. Предметом размышлений драматурга становится всемирная история в ее устремленности к своим пределам, к выходу в некую сверхисторическую реальность.

Расширение замысла привело к отказу от традиционных форм исторической драмы и созданию гигантской панорамы с десятками персонажей, по своим объемам приближающейся к большому роману. В поисках новых драматургических форм Ибсен многократно обращался к гетеевскому «Фаусту», не относясь к нему, все же, как к безусловному образцу и даже вступая с ним в художественную полемику. Суть последней определялась оригинальностью поставленной задачи — придать событиям масштаб подлинно всемирный, сверхвременной, «божественный», но, в то же время, создать вполне достоверную реалистическую картину с множеством мельчайших примет эпохи. Этим были вызваны неприятие Ибсеном стихотворной формы и недопустимость эпизодов, предельно абстрагированных от исторических реалий.

Дилогия открывается сценой, скрыто пародирующей гетеевский «Пролог на небесах». «Небесное» будто бы целиком низводится к «земному». Ирония и саркастичность создают иллюзию тотальной десакрализации истории. Однако весь дальнейший ход действия задает обратную направленность, выявляет присутствие в истории мифических сил. В поисках истины ибсеновский герой устремляется к мистику Максиму — «искусителю», образ которого в системе многочисленных «фаустовских» реминисценций соответствует Мефистофелю. Именно мистик Максим выступает в дилогии как главный носитель идеи «третьего царства» — идеи, имевшей принципиальное значение в творчестве Ибсена.

5. По своему происхождению идея «третьего царства» связана с романтической «новой мифологией» — футурологической гипотезой, выдвинутой на заре 19 столетия Шлегелем и Шеллингом. «Новая мифология» представлялась им как завершение истории, воссоединение дифференцированных областей культуры (искусства, науки, философии, религии), как некий универсальный синтез «телесности» античного язычества и христианского спиритуализма. Связь с этой идеей ибсеновской футурологии подтверждается анализом собственных высказываний драматурга. Однако на рубеже 1860—1870-х гг. эта идея не могла быть актуализирована в той форме, в какой она возникла более, чем полстолетия назад. Ибсен, обладавший особой чуткостью к переменам в духовном климате эпохи, ощутил неизбежность разрушения традиционного для европейской культуры союза христианства и гуманизма.

Симптоматично, что ибсеновская дилогия создавалась почти одновременно с первой крупной работой Фр. Ницше. Между художественной мыслью Ибсена и идеями Ницше можно найти немало соответствий (таково, например, восприятие греческой античности как преимущественно дионаисийско-экстатической). Однако целиком позиция Ибсена не совпадает с ницшевской. Уже у раннего Ницше намечена идея «вечного возвращения», исторического круговорота как игры, не имеющей конечной цели. Художественно воссоздавая движение истории, Ибсен также часто использовал символику круга. Однако «круг» у него словно готов к разжатию в спираль, ведущую к непостижимой для человеческого разума цели. Сопоставление с гегелевской парадигмой, проводившееся неоднократно, здесь допустимо лишь отчасти. Художественной мысли Ибсена претит гегелевский рационализм, а в еще большей мере — этистические устремления философа. Для Ибсена неприемлем также исторический оптимизм, присущий в равной мере Гегелю и ранним немецким романтикам. В Европе, потрясенной событиями франко-прусской войны и Парижской коммуны, история не могла представляться ни победоносным «шествием разума», ни великолепной «мировой поэмой».

Ибсен видит историю как процесс прежде всего катастрофический. Даже «третье царство» — этот синтез Логоса и Пана, невозможный в пределах исторического времени, — не является царством абсолютной гармонии. Противоречия в нем не снимаются полностью, но образуют некую динамичную, напряженнейшую сверхинтеграцию. Исторический же мир, изображенный в дилогии, предстает как предельно дисгармоничный и не сводимый к единству. Он словно расколот на две несоединимые части:

- одна из них есть сфера мифического (истинного, сакрального),
- другая — реального (неподлинного, профанного).

В то же время каждая из этих частей обладает собственными внутренними дисгармоничностью и драматизмом: в «верхнем» мире ведут яростную борьбу мифические силы, стремящиеся к слиянию; в «нижнем» мире (сфере реального) возникают — либо компромисс, пародия, искажение «верхнего» мира, — либо альтернатива, требующая от человека, им приобщившегося к сакральному миру, решительного, бескомпромиссного выбора.

Такое понимание экзистенциальной ситуации человека сближает Г. Ибсена с С. Кьеркегором, с основными работами которого драматург был уже знаком в ранний период творчества. Близость к Кьеркегору проявляется также в ибсеновской парадоксальности, усиленной множеством восходящих к гностицизму мотивов. Последние определяют как систем-

ную организацию символики (тесное переплетение античной и христианской традиций), так и парадоксальное содержание действия: желая возродить язычество, Юлиан начинает яростные гонения на христиан, тем самым «очищая», возрождая ненавидимое им христианство. Этот парадокс приводит в finale к «сакрализации» героя: гибель Юлиана предстает как Голгофа языческого Христа. Торжественная ода, звучащая в последней ре-плике драмы, не становится, однако, примиряющим аккордом. Образ «мощного судии», возникающий в заключительных словах христианки Макрины, сообразуется не с «просветлением», но с идеей возмездия, грозного воздаяния. Категория возмездия возникает в дилогии как альтернатива «третьему царству», но история остается все же открытой, ее вектор словно колеблется между двумя полюсами. Вместе с тем сама антитеза не носит абсолютного характера: противоположности соединяются в парадоксе, выражаемом традиционной формулой «воскресения через смерть».

Этот важнейший в творчестве Ибсена мифосимволический комплекс характеризует как судьбу отдельной личности, так и движение истории. Посредством сложной системы символов-лейтмотивов он соединяет все последующие «реалистические» пьесы Ибсена с «мировой драмой». Едва ли не каждая из них — «апокалипсис в миниатюре», уменьшенная проекция мировой эсхатологии.

Анализ развития идей дилогии в дальнейшем ибсеновском творчестве позволил бы по-новому осмыслить всю пройденную драматургом эволюцию, увидеть в созданной им «интеллектуально-аналитической драме» глубинное преобладание синтезирующих мифо-поэтических тенденций. При этом стало бы яснее воздействие, оказанное Ибсеном как на художественные, так и на философско-эстетические искания последующей эпохи, — в частности, преломление его идей в символизме (А. Белый, Вяч. Иванов) и в религиозно-философской мысли начала 20 в. (см., например, статью Н. Бердяева «Генрих Ибсен»). Все эти аспекты темы остаются фактически неизученными и требуют специального подробного исследования.

Балуев Б. П.
(Москва, Россия)

ИСТОРИОСОФСКИЙ ХАРАКТЕР СПОРОВ ОБ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА ПОРОГЕ 20 ВЕКА

1. В научной литературе появление сборника «Вехи» в 1909⁽¹⁾, многоплановая острая дискуссия по нему нередко подаются как явление автономное, как форма реакции на поражение революции 1905—1907. Между тем, и сборник «Вехи», и многочисленные дискуссионные статьи в газетах и журналах, и ответные антивеховские сборники явились лишь своеобразным, последним в предоктябрьский период в России, подведением итогов перманентной дискуссии, которая велась на страницах российской печати с середины 1870-х гг. до начала первой русской революции. В ходе ее уже были поставлены все проблемы, оказавшиеся в центре внимания авторов «Вех» и их оппонентов:

- что такое интеллигенция и какова ее роль в общественной жизни?
- интеллигенция, Россия и Европа,
- интеллигенция и народ,
- интеллигенция и государство,
- интеллигенция и власть,
- интеллигенция и капитализм,
- интеллигенция и религия.

Многие мысли, высказанные по данным проблемам в эти годы, авторы веховской дискуссии лишь развивали, иллюстрируя их новым историческим материалом. Русские мыслители не раз подчеркивали большую историософскую нагрузку, которую несли эти споры интеллигенции о самой себе, о своем месте в российской истории. Г. П. Федотов, например, находил, что «мы имеем здесь дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего». Он отмечал особое значение этих дискуссий для исторической науки: «Она (интеллигенция — Б. Б.) сама писала свою историю... И так как эта традиция автентическая („сама о себе“), то в известном смысле она для историка обязательна» (2).

2. Поначалу, когда в 1860-х гг. с легкой руки П. Д. Боборыкина слово «интеллигенция» вошло в обиход письменной и устной речи, особых разнотений в его истолковании не было. Оно означало, по Боборыкину, «высший образованный слой общества» или «разумную, образованную, умственно развитую часть жителей, «как разъяснял его смысл в своем «Толковом словаре» В. И. Даля(3).

Эта образованная часть общества, люди конкретного умственного труда — профессора, преподаватели высших учебных заведений и гимназий, писатели, журналисты, юристы, художники, артисты, духовные лица, врачи, инженеры, чиновники, фабриканты, офицеры — воспринимались как обязательный атрибут общественного организма, без которого он просто не мог нормально функционировать.

Почва для дискуссии появилась, когда понятие «интеллигенция» стало наполняться новым содержанием, которое привнесли в него народнические идеологии. Для П. Л. Лаврова уже в 1868—1869 интеллигенция — это не просто образованные представители общества, а «люди критической мысли», направленной на преодоление устаревших форм социального устройства; это личности, которые, действуя под влиянием высоконравственного (социалистического) идеала, обеспечивают человеческий прогресс.

Для Н. К. Михайловского также интеллигенция — это не просто образованные люди, а те из них, кто постоянно размышляет, как улучшить положение народа, кто болеет за его судьбу, кто готов «взять народ за центр тяжести своей работы».

В концентрированном виде народническое, социально-этическое определение интеллигенции дал С. Я. Елпатьевский: «Интеллигенция — это общественно думающая и общественно чувствующая часть общества, та вооруженная знанием, руководимая общественными импульсами часть общества, которая в своих мыслях и чувствах, в своем миропонимании и в своем общественном поведении отправляется не от узких, личных, групповых, профессиональных или классовых интересов, а интересов страны вообще, народа вообще, разумея под понятием народа всю сумму труженившихся на всех разнообразных путях человеческого труда...» (4).

3. Установка на социальную активность интеллигенции в историческом процессе проявилась на первом этапе в ее «хождении в народ» с целью поднять его на борьбу с существующим порядком. Попытка эта, как известно, кончилась провалом. Это породило в народнической среде новые взгляды на интеллигенцию и ее социальную роль. Наиболее яркими их выражителями стали идеологи ортодоксального либерального народничества П. П. Червинский и И. И. Каблиц (Юзов).

Червинский пришел к выводу, что интеллигенция должна не столько учить народ, как надо жить, сколько учиться у него общинности, колLECTИвизму, высоким нравственным качествам. Интеллигенция, по Червинскому, должна прекратить смотреть на русскую жизнь «сквозь европейские очки», «мудрить над русской жизнью по иностранным образцам и книжкам». Ибо Россия несет в себе черты большого своеобразия, и эти черты

— производное вовсе не ее отсталости, они объясняются «своебразным складом общества» в ней (5).

Каблиц в своих книгах «Основы народничества» и «Интеллигенция и народ в общественной жизни России»⁽⁶⁾ подверг резкой критике ту часть интеллигенции, которая претендовала на активную роль в переделке социально-экономических отношений в стране и в «воспитании» народа, в наязывании ему своих взглядов. Начиненная западными идеями интеллигенция, по Каблицу, рассматривает русский народ как простой «человеческий материал» для социальных экспериментов. И это «насильственное влияние» на народ, считает Каблиц, приведет лишь к торжеству бюрократии нового типа, которая, в отличие от старой, будет руководствоваться «последним словом науки», от чего жизнь народа слаще не будет. В этих мыслях легко угадываются по крайней мере два упрека будущих веховцев по адресу российской интеллигенции: в ее оторванности от народа и в некритическом усвоении ею и перенесении на российскую почву разных западноевропейских теорий. В них отразились две важные историософские проблемы:

- интеллигенция и народ,
- интеллигенция, Россия и Запад.

4. В 1880-х годах к этой самокритике в народнической среде прибавилась массированная критика интеллигенции со стороны консервативных сил. При этом с особой остротой были поставлены проблемы:

- интеллигенция и государство,
- интеллигенция и власть.

Эту линию весьма выпукло выразил Л. А. Тихомиров, перешедший из лагеря революционных народников в лагерь охранительный и написавший большой труд «Монархическая государственность» (1905)⁽⁷⁾ и ряд статей по этой проблеме. В статье «Что делать нашей интеллигенции?» (8) он заклеймил деятельность интеллигенции «по переделке» России «по самоновейшим прогрессивным фасонам» как антинациональную и призвал интеллигенцию служить стране, употребляя свои специальные знания. Здесь и в других работах Тихомирова со всей силой прозвучали, как позднее и в «Вехах», обвинения интеллигенции в отщепенстве от государства, в стремлении ее к разрушительной, а не к созидательной работе. Решение проблемы «интеллигенция и власть» представители консервативной мысли видели в следующей формуле: «... спасение России как политического целого лежит в самодержавной власти государя, а не в парламентском народоправстве» (9).

Либеральная интеллигенция видела это решение в другом: в либерализации власти, в демократических свободах для более эффективной дея-

тельности интеллигенции на благо государства и народа. Еще в 1880 Н. Н. Златовратский совершенно в духе либералов предложил для разрешения «народного вопроса» прежде всего дать интеллигенции свободу обсуждения его в печати (10).

Наиболее радикальными в решении данной проблемы были позиции представителей революционно-народнической и социал-демократической интеллигенции, призывавшей к свержению самодержавия. Но при этом первые отводили интеллигенции роль лидера в «освободительной борьбе», вторые, имея в виду ее «буржуазную природу», оценивали интеллигенцию как силу крайне ненадежную в борьбе с русским самодержавием.

5. В 1890-е с особой остротой встал в повестку дня проблема «интеллигенция и капитализм», и обсуждение ее во многих случаях приобрело историософское звучание. Капитализм в России в последней трети 19 столетия значительно продвинулся в своем развитии. Особенно заметен был его рост в последнее десятилетие 19 в. В 1891—1900 среднегодовой прирост промышленного производства составил в России 8,5, в то время как в Германии он был на уровне 4,9 %, в США — 3,3 %, в Англии — 2,4 %, во Франции — 1,6 %. С 1892 по 1901 железных дорог в России было построено столько же, сколько за все предыдущие годы, и их общая протяженность достигла 56.000 км.

Однако среди подавляющего числа представителей социально активного слоя интеллигенции этот факт никакой эйфории не вызывал. На пороге 20в. значительная часть этой интеллигенции продолжала исповедовать народническую идеологию с либеральным или революционным акцентом. В отношении к капитализму ее взгляды совпадали с концепцией Н. К. Михайловского, который до конца жизни считал капитализм большим злом и в социально-экономическом плане (социальное расслоение, разорение непосредственных производителей), и в морально-этическом (культ наживы, денежного чистогана, падение нравственности в городе и деревне).

Михайловский писал: «Колупаевы и Разуваевы — вот страшная сила и, конечно, чисто буржуазная, в самом точном и полном значении слова...; ибо их специальная роль состоит в лишении народа хозяйственной самостоятельности. А можно ли сомневаться, что более лютых врагов свободы мысли и слова и, следовательно, интеллигенции, нет на Святой Руси и быть не может» (11). И еще: «Капитал идет!» — это несомненно, но вопрос в том, как его встретить. Пусть не говорят также о тех грядущих благах, которые принесет с собой дальнейшее развитие капитализма. Не говоря о проблематичности этих благ, надо же во что-нибудь ценить здоровье, жизнь, честь современников, которые до «радостного утра» не доживут (12).

Свое призвание как интеллигенции народники видели в том, чтобы сорвать страну с пути развития капитализма и привести ее к своему варианту социализма. Интеллигенция активной консервативной ориентации старалась доказать гибельность социалистических идей и в то же время во имя сохранения монархии беспощадно разоблачала призрачность буржуазных свобод и благ буржуазного парламентаризма. Наиболее впечатляющей в этом плане была публистика К. П. Победоносцева, который с сожалением констатировал, что теория парламентаризма «до сих пор вводит в заблуждение массу так называемой интеллигенции — и проника, к несчастью, в русские безумные головы» (13). «Парламентские выборы — фикция, — утверждал Победоносцев, — ибо перед выборами кандидат в депутаты, как правило, твердит все о благе общественном». Но все это не более, чем «временные ступеньки лестницы, которую он строит». «Министры, — добавляет он, — вступают во власть и оставляют власть не в силу воли народной, но потому, что их ставят к власти или устраняют от нее — могущественное влияние личности или влияние сильной партии. Они располагают силами и достатками нации по своему усмотрению, раздают льготы и милости, содержат множество праздных людей на счет народа... В действительности, министры столь же безответственны, как и народные представители» (14).

Многие представители интеллигенции, даже студенты, могли в то время, совершая длительные вояжи за границу, визуально наблюдать псевodemократизм парламентского механизма. Но эта критика буржуазного парламентаризма со стороны далеко не бесталанных представителей монархической идеи, толкала молодежь чаще не к монархизму, а к социалистическим партиям, которые звали и к разрушению самодержавия, и к преодолению капитализма, к социалистическому выбору для будущего России. Поэтому прав был М. И. Туган-Барановский, когда заключал: «Социалистическая симпатия русской интеллигенции составляет одну из ее наиболее характерных отличительных черт» (15).

6. Однако среди интеллигенции в узком, социально-этическом смысле этого слова, а особенно среди широкого слоя образованных людей вообще, было немало таких, кто решительно выступал против крутой, тем более — революционной ломки существующих порядков, против социалистического пути развития России на основании заимствованных на Западе идей, кто отстаивал эволюционный путь развития с сохранением традиционных, самобытных форм государственного и общественного устройства, с бережным отношением к христианской, православной вере ее народа. Еще накануне первой русской революции эта часть российской интеллигенции

предъявила другой ее части, проникнутой революционными и социалистическими идеями, те обвинения, которые после революции прозвучали со страниц сборника «Вехи». Один из противников «социалистического выбора» писал: «Самый характерный признак современной русской интеллигенции — в ее «разрывах». Главных разрывов на ее знамени — пять: 1. разрыв с государством; 2. разрыв с церковью; 3. разрыв с народом; 4. разрыв с наукой (социальная наука с ее объективным анализом действительности заменена сектантскими учениями с их догматизмом и вождистскими указаниями — Б. Б.) и 5. разрыв с прошлым» (16). Спор этот между двумя размежевавшимися частями российской интеллигенции имел большой историософский смысл, ибо предопределил многие из дальнейших событий в истории России.

Библиография:

1. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М., 1990.
2. О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 405.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т.2. С.108.
4. Елпатьевский С. Я. По поводу разговоров о русской интеллигенции // Русское богатство. 1905. № 3. С. 59.
5. Червинский П. П. Наша национальная особенность // Неделя. 1875. № 31. Стб. 1009.
6. Каблиц И. И. Основы народничества. 1-е изд. СПб., 1882; Каблиц И. И. Интеллигенция и народ в общественной жизни России. СПб., 1885.
7. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. М., 1905.
8. Тихомиров Л. А. Что делать нашей интеллигенции? // Русское обозрение. 1895. № 10. С. 866-867.
9. Сыромятников С. Н. Опыты русской мысли. Кн. I. СПб. 1901. С. 44.
10. Златовратский Н. Н. Народный вопрос в нашем обществе и литературе // Русское богатство. 1880. №№ 3, 5, 6.
11. Михайловский Н. К. ПСС. СПб., 1914. Т. 5.; СПб., 1908. Стб. 541.
12. Там же. Т. 8. Стб. 698.
13. Победоносцев К. П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 31.
14. Там же. С. 33—34.
15. Туган-Барановский М. И. Интеллигенция и социализм // Вехи. Интеллигенция в России. М., 1991. С. 419.
16. Соколов Н. М. Об идеях и идеалах русской интеллигенции. СПб., 1904. С. 457.

Любин В. П.
(Москва, Россия).

СОЦИАЛИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ В 20 ВЕКЕ

События конца 1980-х — начала 90-х заставляют исследователей-гуманистариев вновь обращаться к вопросу о сущности и судьбах социализма, интернационализма и национализма, их взаимосвязи в современном мире. При подведении итогов 20 века обнаруживается, что он стал веком не только и не столько триумфа социалистической идеи, а затем и ее поражения, сколько веком бурного развития и все более обнаруживающейся неистребимости национализма во всех его ипостасях.

В связи с этим мне бы хотелось сформулировать ряд вопросов, ответы на которые мы могли бы дать не только «здесь и сейчас», а скорее всего в ходе дальнейших размышлений и последующих научных работ. Собственно говоря, эти вопросы уже ставятся в исторической и политологической науке — как в России, так и за рубежом.

«В 1989 г. после событий в Центральной Европе и при первых признаках кризиса СССР большая часть левых сил внезапно обнаружила, что пророчество о растворении нации, а следовательно, и национализма в океане социалистического интернационализма, оказалось нереализованным. Произошло обратное, нации возродились вновь из тьмы прошлых времен, причем с огромной жизненной энергией и волей самоутверждения... Развитие событий заставляет поставить вопрос: почему не исполнилось это пророчество, или что выхолстило противопоставление национального принципа социалистическому интернационализму?», — спрашивает, например, известный итальянский историк социалистической ориентации Э. Ди Нольфо во «Введении» к тому «Анналов» миланского Фонда Бродолини (1). И отмечает, что в современном мире не существовало чего-либо, что можно было бы характеризовать как социалистическое или интернационалистское общество. В лучшем случае, была лишь попытка начать строительство социализма посредством сосредоточения собственности на средства производства в руках государства. В худшем, — удалось лишь создать имперско-бюрократическую систему, основанную на трех столпах:

- строгое и контролируемое планирование производства,
- распределение инвестиций согласно потребностям державной политики,
- создание вокруг этого бюрократического паразитарного

аппарата, стремящегося стать «новым классом» (2).

Ди Нольфо подвергает критике некоторые положения опубликованной в тех же «Анналах» статьи видного германского исследователя Х. Моммзена, написавшего, что: «Нация и национальное государство остаются историческими формированиями и поэтому являются переходными и лишенными абсолютной необходимости; они занимают наиболее низкие ступени на лестнице политических ценностей. Рабочее движение Центральной Европы совершенно правильно боролось против концепции, согласно которой национальные идеи следует ставить наравне с идеями прогресса и социальной справедливости. Национализм, оказавшись в руках демагогов-популистов, демонстрирует теперь, как и в 19 в., что он является опасным оружием против демократии и социального освобождения. Поэтому, — заключает Моммзен, — ему надо противиться всеми силами» (3).

«Ныне трудно говорить о судьбах социализма, — парирует это высказывание немецкого историка Ди Нольфо, — однако, ясно, что только если социализму удается соединиться с идеей нации и поместить ее в концепцию интернационализма, идеи и политика социализма обретают конструктивный выход, а не превращаются в жизнерадостные утопии» (4).

Рассмотрев далее концепции нации и национальной идентичности, предложенные рядом выдающихся умов, таких, например, как Г. Э. Гердер и Ж. Ж. Руссо, Ди Нольфо анализирует идеи теоретиков 20 в.

Для левых, в частности, для А. Грамши, когда он рассуждает о дискуссии между Сталиным и Троцким в своей работе «Заметки о Макиавелли, о политике и современном государстве», национальное представляет собой точку отправления в движении к интернациональному.

Итак, вопросы поставлены, и поиски ответа продолжаются. Представляется весьма интересным выслушать мнение представителей научного мира тех европейских наций, которые и явили в 20 в. феномен наиболее уродливого соединения «социализма с идеей нации», образовавший гремучую смесь фашизма и нацизма (национал-социализма).

Вспомним, что когда началась Первая мировая война, почти никто в Европе, где социалистические идеи, казалось, пустили столь глубокие корни, не мог представить себе, что, созданный на его основе Интернационал, рухнет, как карточный домик, под ударами агрессивного национализма. В. И. Ленин в первый момент даже не поверил тому, что германские социал-демократы проголосовали в своем парламенте за военные кредиты, сочтя это кайзеровской пропагандой.

Интернационалист Г. В. Плеханов, как и многие социал-демократы — интернационалисты других стран, в условиях развязанной Германией аг-

рессии, занял позицию «защиты Отечества». Уже тогда выявилось, что в период наивысшего напряжения на первое место из анализируемой триады (социализм, интернационализм, национализм) у социалистов ряда стран выходит именно национализм, и положения о всеобщем братстве между народами уступают место атавистическому, родовому понятию национальной принадлежности.

По окончании первой мировой войны сначала Италия, а затем Германия, страны с древними культурными традициями, отреагировали на катастрофические для этих стран итоги войны созданием собственного «большевизма наоборот» (итальянский политик Ф. С. Нitti уже в 1923 назвал фашизм и большевизм двумя сторонами одной медали). Произошло ли это лишь потому, как утверждают сторонники модной научной теории, что именно эти страны более всего нуждались в ускоренной модернизации (в ней нуждался и весь остальной мир)? «Тридцатилетняя война 20 столетия», длившаяся с 1914 по 1945 гг., дала бурное проявление феноменов национализма, социализма и интернационализма, понимаемых по-своему как левыми, так и правыми.

Господствовавшая в СССР марксистская историография избегала во всей широте и остроте ставить вопрос о соотношении упоминаемых феноменов (исключением были, пожалуй, работы Б. Р. Лопухова об итальянском фашизме). Концепции, развивавшиеся в западной науке (она также в достаточной мере испытала на себе влияние марксизма и марксистской методологии), давали самое разное истолкование этих понятий. Вероятно, историкам и политологам не хватало историософского подхода: каждый из них оказывался «зациклен» на национальном историческом развитии. Мало кто, за исключением, может быть, ставшего своего рода классиком в изучении феномена фашизма немецкого историка Э. Нольте, пытался дать более широкую международную панораму рассматриваемых явлений.

Т.о., изучение социализма, интернационализма, большевизма, фашизма и нацизма, во многом определивших специфическое лицо 20 в., все еще является проблемой более политической, нежели научной. Взвешенные, объективные исследования предстоит выполнить, очевидно, уже историкам 21 в.

Развивая высказанный в начале тезис о триумфальном шествии национализма в 20 в., напомню, что именно национализм и национальный эгоцентризм привел к жесточайшему военному конфликту 1914—1918, обескровившему Европу и по-своему определившему ход событий 20 в. Последовавшие за Первой мировой войной социальные катаклизмы, как представлялось многим, открывали дорогу к победе социализма и интер-

национализма над национализмом. Однако, это была «победа» в кавычках, так как и в середине, и в конце века национализм заявил о себе достаточно остро, озnamеновавшись кровавыми конфликтами, угрожая «балканской» Европе и всему остальному миру (5).

В межвоенный период национализм победителей — французов, англичан и других, стремившихся поставить Германию на колени, — спровоцировал реваншизм немцев, что способствовало приходу нацистов к власти. Националистические войны в 20 в. сопровождались этническими, гражданскими и нередко настолько смешивались, что становилось очень трудно провести между ними различительную черту.

Существующее в нынешнем мире неравенство сулит долгую жизнь националистическим и социальным конфликтам (по мнению немецкого ученого Х. М. Энценбергера, по окончании биполярного противостояния, в мире разразились и продолжаются мириады гражданских войн (6). Именно поэтому стоит подвергнуть тщательному исследованию рассмотренные феномены и попытаться на основе научных подходов отыскать противовесы, сдерживающие дальнейший опасный рост национализма.

Библиография:

1. Socialismo e nazione. La cultura democratica e socialista fino alla prima guerra mondiale. P. Lacaita ed. Manduria — Bari — Roma. 1994. // Annale della Fondazione G. Brodolini. Milano. P. 7.
2. Ibid. P. 8.
3. Ibid. P. 154.
4. Ibid. P. 9.
5. Lacquer W. Russian Nationalism. // Foreign Affairs. 1992—1993. Winter. P. 103—116.
6. Enzensberger H. M. Aussichten auf den Bürgerkrieg. Suhrkamp Verlag. Frankfurt-am-Main. 1993.

Светленко С. И.
(Днепропетровск, Украина).

РОССИЙСКОЕ НАРОДНИЧЕСТВО И УКРАИНСКОЕ НАРОДОЛЮБСТВО: АНАЛИЗ ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО

В европейской социальной истории 19—20 вв. заметный след оставили общественные движения. Научное исследование их генезиса, фаз динамического развития, выделение общих и особенных черт на основе историко-генетического, историко-сравнительного, историко-типологического и других методов познания будет способствовать решению сложных историософских проблем и остается важной гносеологической задачей.

Во второй половине 19 в. особую актуальность в общественной жизни русского и украинского народов приобрело оппозиционное движение прогрессивной дворянской и разночинной интеллигенции, студенческой и учащейся молодежи, объединенных преимущественно вокруг этических и социальных идеалов крестьянского демократизма. Оно было представлено двумя общественными потоками: российским народничеством и украинским народолюбством, которые, развиваясь самостоятельно и во взаимосвязи, имели общие и особенные черты. Их сравнительный анализ представляет значительный исследовательский интерес.

Российское народничество и украинское народолюбство являлись типологически близкими движениями, представляя собой национальные (восточно-славянские) формы европейского демократизма. Их зарождение и развитие осуществлялись в переходную эпоху от феодализма к капитализму, сопровождавшуюся пробуждением социального и национального самосознания народных масс, и органично вписывалось в общий процесс славянского возрождения. Генетическое родство указанных движений обусловливалось целым рядом общих факторов:

- социально экономических (остатки феодальных производственных отношений, недостаточная зрелость капитализма, численное доминирование крестьянства в социальной структуре общества и др.),
- политических (имперский монархический режим),
- идеологических (идеи отечественного и зарубежного просветительства, демократизма, либерального реформизма, революционизма, утопического социализма, позитивизма в философии, историософии, естествознании, естественнонаучного материализма, субъективной социологии и др.).

— нравственно-этических (христианская мораль, романтическая литература),

— исторических (традиции массовых народных движений — разинщины, пугачевщины, Запорожской Сечи, колиивщины, предшествующих поколений в освободительном движении — декабристов, западников, славянофилов, демократов — социалистов первой половины 19 в., крупнейших явлений мирового революционного процесса 18—19 вв.).

Фундаментальной основой мировоззрения российского народничества и украинского народолюбства являлось антифеодальное, демократическое начало. Участники этих движений стремились познать «народный идеал», проникнуть в недра народной жизни, «слиться» с народом, посвятить себя защите его интересов. Народники и народолюбцы связывали историческую перспективу с народовластием, стремились пробудить самосознание народа, под которым понимали прежде всего крестьянство. Философ Н. А. Бердяев точно назвал эту деятельность «исканием истинного народа и истинной народной жизни со стороны интеллигенции, утерявшей связь с народом и неспособной себя осознать народом» (1).

Определенная социальная неоднородность состава участников указанных движений, разнообразие источников генезиса обусловили появление в российском народничестве и украинском народолюбстве двух основных идейных тенденций — либеральной и радикальной, которые находились в диалектической взаимосвязи и проявлялись во множестве оттенков. Богатство идейной палитры российского народничества верно подметил Н. А. — Бердяев, писавший: «У нас было народничество левое и правое, славянофильское и западническое, религиозное и атеистическое. Славянофилы и Герцен, Достоевский и Бакунин, Л. Толстой и революционеры 70-х годов — одинаково народники, хотя и по-разному» (2).

В этом же контексте интересно мнение украинского мыслителя и общественного деятеля С. А. Подолинского, который отмечал, что «у[краинская] с[оциально]-д[емократическая] п[артия], как и великорусская, не представляет собою вполне и стройно организованного целого и потому, конечно, не может иметь предварительной программы, как ее, напр[имер], составляет немецкая или другая западноевропейская» (3).

Схожесть идейных основ российского народничества и украинского народолюбства объясняет немало аналогий в их практической деятельности, что ярко проявилось в таком явлении как «хождение в народ». На рубеже 1850-х — 1860-х сближение с народом начали украинские народолюбцы, которых называли «хлопоманами». В 1870-е ряды ходивших в народ значительно расширились за счет российских народников. Весьма симпто-

матично, что представители народничества и народолюбства при этом действовали зачастую не только параллельно, но и сообща (4).

Типологическая близость народников и народолюбцев подтверждается такими авторитетами украинского национального движения, как М. П. Драгоманов и С. А. Подолинский. М. П. Драгоманов вспоминал: «При встречах с молодежью „радикального“ и украинского направления я всегда говорил, что не понимаю их разделения, так как, по обстоятельствам Украины, „здесь плохой тот украинофил, который не стал радикалом, и плохой тот радикал, который не стал украинцем“» (5).

Подобную мысль высказывал и С. А. Подолинский, который, характеризуя российских народников и украинских народолюбцев, утверждал: «что многие из них то и другое вместе (Волховский, напр[имер]) уже теперь, что многие из них не украинофилы только случайно, напр[имер], воспитывались не на Украине, плохо знают язык, попали сначала в великорусские кружки и т. п., и, наконец, самое главное, что они неминуемо станут украинофилами, коль скоро вернутся на Украину и увидят теперешнее направление украинофильства» (6).

Несомненно, что активное практическое участие одновременно в движении народничества и народолюбства привело ряд деятелей освободительного движения (В. Г. Малеванный, И. Н. Присецкий и др.) к поиску новой программной платформы. В результате в 1883 был разработан проект «программы деятельности и организации украинофильской социально-революционной партии на федеративных началах». Его реализация стала невозможной вследствие арестов (7).

Российское народничество и украинское народолюбство действовали самостоятельно, но не изолированно, оказывая взаимное влияние друг на друга. Так, временный одесский генерал-губернатор Э. И. Тотлебен располагал данными о том, «что украинофильская партия имеет значительное влияние на социальное движение в России. Она, как и всякая партия, относящаяся враждебно к правительству, составляет удобную почву для революционного брожения, а главное — она, можно сказать, более всякой другой партии доставляет адептов социального учения, что видно уже из того, что социализм особенно резко проявился в Киеве, и что самые ярые фанатики, как, напр[имер], Стефанович, Бохановский, Мокриевич, Ковалик, Лизогуб, Кравцов, Волховский, Каблиц, Малинка, Брешковская, Ковалевская и многие другие, сперва принадлежали к партии украинофилов и уже потом сделались социалистами» (8).

Достаточно массовый переход демократической молодежи с позиций украинского народолюбства к российскому радикальному народничеству

объясняется несколькими причинами. Во-первых, «украинофильское» движение, по словам М. П. Драгоманова, не успело «выработать и высказать цельного, систематического мировоззрения на текущие вопросы внутренней и внешней политики...» (9) и не выдерживало конкуренции с российским народничеством, более организованным в программном отношении. Во-вторых, подобная идеяная эволюция усиливалась репрессиями царизма в отношении народолюбцев-культурников.

В-третьих, это было следствием давления официальной школы, создававшей благоприятную почву для усвоения унитарных, централистических доктрин российского «социально-революционного» народничества (10).

Народничество и народолюбство, будучи историческими явлениями одного типологического ряда, не являлись тождественными движениями, имели специфические особенности. В российском народничестве длительный период доминировало «социально-революционное» направление. До конца 1870-х приоритет отдавался социальному вопросу, решение которого связывалось с революционными методами преобразования общества. Российские радикальные народники разных течений идеализировали крестьянство, пытались опереться на многовековые традиции русской крестьянской общины, считали капитализм неорганическим явлением русской жизни. В их концепциях идеи крестьянской демократии прочно соединялись с русским «общинным» социализмом. В конце 1870-х происходит политизация российского народничества, что сопровождалось усилением революционно-террористической тенденции и ослаблением культурической. В доктринах российского народничества подчиненное место занимал национальный вопрос. При этом определяющее значение придавалось централистической, унитарной идее «единой России».

Специфика мировоззрения украинского народолюбства состояла в соединении идей украинофильства, направленных на национально-культурное возрождение Украины, и народолюбства («хлопомании»), ставивших целью изучение методов социального освобождения народа. Украинские народолюбцы не идеализировали революционные возможности крестьянства, хотя часть из них связывала идеи крестьянской демократии с лозунгами украинского крестьянского социализма. Для украинского демократического движения интеллигенции характерно медленное размежевание либеральной и радикальной тенденций, наличие ряда промежуточных идеальных оттенков. Реализация национально- и социально-демократических идеалов виделась народолюбцами преимущественно посредством развития либерального эволюционизма, государственного федерализма, национально-культурной

автономии. Украинолюбцы отрицательно относились к всероссийскому централизму, революционным мистификациям и террору как принципу борьбы.

Библиография:

1. Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 69.
2. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 48.
3. Революційне народництво 70-х років XIX ст. і українські «громади» Лист С. А. Подолинського про «українську соціально-демократичну партію» / Підготував М. П. Рудько // Український історичний журнал. 1968. № 9. С. 128.
4. ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 332, 333.
5. Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. Київ., 1970. Т. 1. С. 59.
6. Український історичний журнал. 1968. № 9. С. 129.
7. РГІА. Ф. 1405. Оп. 83—84. Д. 11250. Л. 34—42, 52 об. — 54 об.
8. ЦГІА України (Киев). Ф. 442. Оп. 829. Д. 416. Л. 15 об. — 16.
9. Драгоманов М. П. Политические сочинения / Под ред. И. М. Грэвса и Б. А. Кистяковского. М., 1908. Т. I. С. 260.
10. Драгоманов М. П. К биографии А. И. Желябова. Женева., 1882. С. 15.

THE REPUBLICAN / NATIONALIST BINARY: HISTORIOGRAPHICAL QUESTIONS RELATED TO THE SECOND REPUBLIC, REVOLUTION AND COUNTER-REVOLUTION IN SPAIN

The Introduction of a new book on the Spanish Civil War by George Esenwein and Adrian Shubert (1) captures a thriving historiographical debate on the subject of the Civil War of 1936 to 1939. This debate, some sixty years after the beginning of the conflict, is increasingly addressed as the written history of the war expands.

In the volume «Spain At War» George Esenwein and Adrian Schubert state that the picture of «two sides», that is «Republicans» and «Nationalists» in the Civil War is an unsatisfactory one since the real nature of events was far more complex than merely two distinct groupings in conflict with one another. The authors state that for many years the complexities of the struggle were obscured by controversy and that it is easy, in retrospect, to see why this was the case. Few wars have evoked so many passions and have evoked so many debates as the Spanish Civil War. Visions of the war shared one central feature and that was their polarised view of reality which was telescoped, on the one hand, for the left into an encounter between the forces of fascism and democracy and, on the other hand, for the right as a battle between Christian civilisation and communist barbarism (2).

It is only relatively recently that this highly charged atmosphere has led to more clarity in assessing the politics of Spain at war and the social and political causes of the conflict. The causes of the Spanish Civil War have now been placed within their Spanish context and root causes of the conflict have been sought inside the specific historical context of Spain, as opposed to outside and international developments or key players. This process of contextualisation was pioneered by Gerard Brenan, who in 1943 wrote «The Spanish Labyrinth»(3). This book attempted to understand the war within the context of the previous century's history.

While this relatively new volume by Esenwein and Shubert attempts to address the question of facile divisions into two opposing camps, when in reality the situation was far more complex, and as such forms part of this newer attempt to understand the Civil War, it is argued in this Paper that this volume also ultimately fails to break the perceived binary fault line between «Nationalists» and

«Republicans». While the volume does attempt to document the extensive revolution which swept over much of Catalonia and Aragon under the influence of the anarchist and anarcho-syndicalist organisations, the interface of politics between the Republic and the revolution is never quite clear. The two elements seem to co-exist in isolation and little interactive process between them is discussed.

In this way, we see, for example, in the volume that Prime Minister Jose Gil distributed arms to the proletarian militias which fought against the insurgent Nationalists and that «His bold action was to prove decisive for the Republican government» (4) even though those workers were often fighting against the insurgents and also against the Republican governmental regime, and sought to establish libertarian communism, without state or government. Further, in their analysis of the dynamics of Republic / Revolution, the authors state that popular revolution was to sweep through the «Republican zone» and that the Republic was the first casualty of the revolution (5) One must ask, then, is it really possible to talk of a «Republican» zone if the first casualty in the »Republican» zone was the Republic itself? Clearly, we need to be more sophisticated in our understanding of this debate.

This same kind of interpretation of the Republic / Revolution relationship is seen in the edited collection by Alan Kenwood where he talks of a Republican and a Nationalist zone, even the «revolution had come» (6). Others have been more sophisticated and have recognized this as a historiographical problem such as Martin Blinkhorn who has discussed the «divide» into two sides and its lack of clarity. He states that «Republican» unity was not easy to achieve in the first months of the Civil War (7).

Bearing in mind these questions, this Paper will focus on the construction of the »Republicans» and «Nationalists» as dichotomous binaries within the historiography of the Spanish Civil War. In order to do so, it will be divided into three sections:

1. A discussion on the origin of the conception of the Republican / Nationalist divide and the political positions this corresponded to.
2. An analysis of the recent historiography of the Spanish Civil War, highlighting its Republican and institutional bias and concentration on questions of state, government and political parties. The foregrounding of events and debates and their relation to these entities rather than analysing the significance of a grass roots revolution in some parts of the country will be analysed. Why the revolution has been relegated to little more than a sideline in some cases will also be discussed.
3. In order to further contextualise this historiosophical problem, the particular problematic of May 1937 in Barcelona will be analysed. It was

during the so-called «May Days» in Barcelona that the concept and legitimacy of revolution was once again challenged and the position of the revolutionary forces and their conception of the war, the Republic and the future, was finally broken. There is a need to explain the social significance of these May Days, which involved a kind of «civil war within a civil war», and also to discuss how they affected not only the Republican and governmental physiognomy and war effort but also how they affected the revolutionary ideologies such as the anarchist and the left communist. It is necessary to reassess and position the significance of the May Days in the context of the Civil War and revolution. In the May Days the hegemony of the revolutionary sectors in some parts in Spain was destroyed. It will be argued in this Paper that in order to fully understand what happened in the May Days it is necessary to comprehend the nature of the politics of the massive anarcho-syndicalist forces grouped in the National Confederation of Labour (CNT) and it is necessary to understand the possible significance of alliances between the CNT and other forces on the left. Excellent histories have been written on the internal politics of the Communist Party and the Socialist Party (8), but anarchism, as ultimately it failed in Spain, is viewed by many writers as a victim of its own «internal contradictions». These points of view, within the context of the May Days and the wider debate on the Civil War and the Nationalist / Republican binary, need to be analysed and explained.

Bibliography:

1. Esenwein George and Shubert Adrian. *Spain at War. The Spanish Civil War in Context, 1931—1939*. Longman. Harlow. 1995.
2. Ibid. P.2.
3. Brenan Gerald. *The Spanish Labyrinth*. Cambridge University Press. Cambridge., 1990.
4. Ibid. P.107.
5. Ibid. P.108.
6. Kenwood Alan (ed.). *The Spanish Civil War. A Cultural and Historical Reader*. Berg. Providence / Oxford., 1993.
7. Blinkhorn Martin. *Democracy and Civil War in Spain, 1931 1939*. Routledge., London., 1988.
8. Graham Helen. *Socialism and War: The Spanish Socialist Party in Power and in Crisis, 1936—1939*. Cambridge University Press. Cambridge., 1991.

van Rossum L.
(Amsterdam, Holland)

THE SECOND INTERNATIONAL AND SOCIAL DEMOCRATIC AGITATION AMONG THE AGRARIAN POPULATION: 1889—1914.

I. Introduction.

Up to now comparative studies into the attitude of social democracy towards «the agrarian question» are scarce, indeed nearly non-existent. There are at least three reasons for this. Firstly, the nineteenth-century social democrats generally did not have a very high opinion of the social-revolutionary potential of the agricultural population. It was not their first concern to agitate for socialism in the villages. Hence they did not leave many traces in this connection for the future historian. Secondly, the social fabric of the countryside was much more complicated than in the cities and, in addition, differed from country to country more as was the case with industry. As far as Russia is concerned, its countryside has certainly rather unique social features (*mir*). Thirdly, research about the agrarian question in general and more specifically on rural agitation is rather unevenly spread about the various social democratic parties of the Second International: the big majority of the publications available deal with the Russian, German and Italian parties.

Although this all suggests that the situation for a comparative approach is not very favorable, one can argue that a first «revue des troupes», **contrasting the differences**, might be in order. One can point to the opinion of quite a few contemporary social democrats who expressed more than once the belief that an international coordinated agrarian policy was feasible despite strongly different agrarian structures.

2. Agrarian theory and praxis.

Most studies on the agrarian question that appeared so far concentrate on the theoretical discussions that the social democrats of the different parties initiated: what were the prospects of smallholdings against the ever growing large-scale agriculture; can the peasant be considered as a (future) proletarian; is it acceptable for social democrats to formulate a special agrarian program with measures which would (temporarily) reinforce the economic position of the smallholder and so on.

This contribution however tries to outline a number of problems which the historian comes across embarking to investigate the **praxis** of the social democratic agitation in the villages in the time of the Second International. The rural

activities of 13 social democratic parties have been considered (for a specification see the table).

3. Sources.

Primary sources to study the agitation in the country are of the type the historian of the labour movement knows from experience: broadsheets, leaflets, and bulletins — specially written by the urban social democrats for rural agitation — evaluations in the socialist periodical press, reports to national and international congresses and ensuing debates, investigations by the police, memoirs written by activists. It seems however that less of these materials has been preserved than of the paperwork referring to agitation in the cities. So the Flemish weekly *De Landbouwer* (The Peasant) is only fragmentary preserved in the Belgian libraries; the stenographic report of the congress of the Bulgarian party from 1900, essential for an evaluation of the Bulgarian agrarian agitation is lost.

Moreover nearly every national movement has gaps in the documentation of the very first steps in the villages. But this situation is akin to the first phase of urban labour history.

4. Take-off.

To establish at what time each of the investigated parties started to campaign in the villages, we propose to distinguish between individual, uncoordinated initiatives by individual people and local organizations on the one hand, and systematic, centrally coordinated agitation in the countryside on the other hand. We define the beginning of central organized activity as «take-off» and conclude that the Danish social democrats were the first to take the step to a broad-based rural agitation from 1882 onwards. Equally the Romanians had begun to campaign in the villages before the nineties. This implies that claims by German historians that the German SPD was the first to take off cannot be supported (Cf. table).

Take-off patterns and motives differed considerably. The Danish, German, Hungarian, Belgian, Serbian and Swedish parties developed (relatively) strong organizations under the urban industrial workers over the years, whereupon rural agitation seemed a logical, «organic» next step, caused by **internal** reasons. At the same time the wish to gain more electoral support, in itself a motive discernable in all parties, had a more prominent place among the so called «organic» parties, especially among the German, Swedish and Serbian ones.

Contrariwise the Romanian, Italian, Croatian and Russian parties were aroused to start rural agitation by **external** causes, by social unrest, any revolution in the countryside. They were, as it were, overrun by the events. Take for instance the bolsheviks and mensheviks. Representatives of both fractions had

declared before 1905 more than once that they had no propagandists available for work in the villages; the outbreak of peasant upheavals in 1905 rather surprised them. Nevertheless both fractions started in 1905 to agitate in the villages.

The development in the Netherlands might be called «organic», but went in the opposite direction: from a party having its greatest support in the two northern, agrarian provinces it became a party more based in the cities, whereupon its enthusiasm for rural agitation declined. In the case of the **Parti Ouvrier Francais** with a support of 0.2% under the industrial hard workers it is to use the term «organic». The take-off was here clearly inspired by the hope to get more voters during the parliamentary election.

In the case of the Bulgarian take-off by the Broads in 1900, this was more provoked by the emergence of the Peasant Union as a rival organization. The Narrows stayed out, but did start to campaign in the villages from 1910 onwards, mainly in election time.

5. Duration.

It seems that only the Danish party was able to sustain an upward trend in its campaigning from the take-off to beyond 1914. All other parties' interest in rural agitation declined or came to an abrupt end. An abrupt end because of the repression by the authorities occurred in Romania (twice; in 1898 the party even dissolved). In the RSDRP there was little interest (and occasion!) after 1907. In Hungary, Italy and Croatia the social democratic parties all returned to the country after the waves of repression; however, in Hungary and Croatia rural commitment declined after 1908. As for the Bulgarians and the Serbs, they did resume their rural agitation on a modest scale after the Balkan wars. Within the German, French Dutch and Belgian parties the agitation declined after a couple of years; the Belgian had the longest breath. The agitation of the Swedish party kept on after its late take off in 1911 stable till 1914.

6. Target Group.

According to the standard social democratic notion only two agrarian sub-categories could be addressed upon in campaigning in the countryside: the agricultural workers whose social identity proletarian position was similar to that of the industrial workers, and the smallholders. The last category was, it is true, not proletarian, but the smallholder did not exploit anyone and he would become in future a proletarian because of the unavoidable squeezing out of the smallholdings. In practice it was not so easy to work with such a schematic approach, as in reality the social differentiation in agriculture proved to be not so clear cut. Many agricultural workers cultivated a sizable plot of land for substance, some smallholders could only make ends meet by seeking employment on an agrarian estate or a factory and by leaving the farmwork to their families,

some factory workers cultivated more than one ha of land, some smallholders hired wage labour during harvest time while seeking wage employment themselves for the rest of the year. In practice all parties under discussion tended to play down the social differences in the countryside (Cf. in Russia the term *derevenskaja bednota*). But alone the French, Bavarian, Dutch and Swedish parties went so far to include in the target group farmers regularly employing wage labour.

7. A g r a r i a n d e m a n d s .

Most of the 13 parties discussed here added agrarian clauses to their existing programs, excepting the German, Hungarian, Italian and Serbian parties (the Hungarians and the Italians did adopt agrarian resolutions that contained programmatic points. It is certainly feasible (but a laborious job) to draw a synopsis of all programmatic demands, but not every national demand is relevant for all countries. However, it is certainly interesting to compare how the nearly universal demand that state (usually through the municipality) should make land available is formulated. It matters of course from a social democratic position whether land shall be distributed to individuals or families (Denmark, Holland, France, Sweden), whether cooperative are preferred (Romania, Italy, Croatia), bolsheviks, mensheviks, or whether the individual option was denied altogether (Belgium).

8. F o r m s o f a g i t a t i o n .

Equally it would be interesting to make an inventory of the different forms of agitation the social democrats used for their rural agitation. In principle they applied the same methods as in the cities (broadsheets, oral propaganda, reading rooms). Although they tried to adapt their propaganda to the agrarian milieu, one comes across many examples of ignorance of the real situation of the countryside. The agitators (soon) realized themselves this cultural gap and tried to cope with this leeway. Thus the Danish, German, French and Belgian parties initiated their rural campaigns with extensive enquetes. The Hungarians, the Danes, the Italians and the Belgians organized special congresses for agricultural workers and peasants.

Whether agitation did make some headway depended considerably from the attitude of the (police) authorities. The more one progresses to South and Eastern Europe, the more difficult it proved to be for the agitators to circulate under the peasants. But also in Prussia, Belgium and France the local authorities drew many barriers.

9. It is obvious that the materials supplied here do not provide a basis for hard conclusions. But one might state that there are prospects for fruitful research in comparing, or for that matter contrasting, the *praxis of the rural agi-*

tation of the social democratic parties of the Second International. A comparative approach, how temptative whatsoever for the time being, will certainly stimulate research on a national level, which is, as we have seen, for the majority of the reviewed parties very necessary. At the same time it might contribute to a better understanding of the inspiring mixture of national and international elements that the Second International before 1914 at its best moments represented.

Socialdemocratic parties of:		take off	durati- on	intern- al/ext- ernal motiv- ation	% of agr. pop. (empl.)		bigland owners hip	parlia- menta- ru tactics
					-1860	1910		
Denmark	SDFD	1882	-1914	int	55	36	-	++
Rumania	PSDMR	1887 1898	-1888 1898	ext	81	75	+	+
Germany	SPD	1890	-1896	int	53	35	(+)	++
Hungary	MSZDP	1890 1904	-1898 1908	int	75	64	+	+
France	POF	1892	1900	int	51	41	-	++
Italy	PSI	1893	-1914	ext	72	55	(+)	+
Belgium	POB	1894	1911	int	46	23	-	++
Croatia	SDSHIS	1895 1905	-1897 1908	ext		78	(+)	+
Holland	SDAP	1897	-1901 (-1905)	int	40	28	-	++
Bulgaria	BRSDP	1900 /10	-1914	ext	89	82	-	+
Russia	RSDRP	1905	-1907	ext	89	80	+	+
Serbia	SSDS	1910	-1914	int	89	82	-	+
Sweden	SAP	1911	-1914	int	72	51	-	++

Bibliography:

1. Rossum Leo van. The Second International and Social Democratic Activity Among the Agrarian Population. 1889—1914. An Exploration // Socialismo Storia / Socialism History. Annali della Fondazione Giacomo Brodolini e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati. III. 1991. P. 648—666.

Slatter J.
(Durham, Great Britain)

THE «UNITED OPPOSITION» OF THE 1890-s: ATTEMPTS TO UNITE RUSSIAN POLITICAL EMIGRATION

In the early 1930s, during the preparation of an edition of the papers of G. V. Plekhanov, his widow Rozalia Markovna wrote to the Russian emigre David Vladimirovich Soskis asking him for copies of Plekhanov's letters to him together with annotations regarding their content. These documents, the extant letters from Plekhanov and notes on them compiled by Soskis together with an autobiographical note from the letter on his experiences in Russia and abroad as a Russian Social Democrat, are held in the Records Office of the House of Lords in London. Only a part of these documents and notes were published in the Plekhanov edition. They illuminate a pivotal moment in the history of the Russian revolutionary movement: the attempts, during the mid-1890s, to publish a united opposition newspaper which would print news and opinion acceptable to all the groups within the movement.

Relations between the various groups of Russian political emigres, and between the emigres and their «front-line troops» in Russia itself, were frequently complicated, even quarrelsome. As P. L. Lavrov, for long the doyen of the emigration, put it, schism and dispute were «a natural pathological phenomenon in every emigration torn away from its homeland» (1). By the early 1890s, the opposition to Tsarism had split into three major emigre centres. Paris, where P. L. Lavrov himself lived and where broadly the emigration was **народники** or **народовольцы**, Switzerland/French Alps, where Plekhanov and the Marxists were dominant; and London, where a mixed or eclectic group, the FVRP (**Фонд Вольной Русской Прессы** or **фондовцы**, as they were most often called) held sway. Connected with the FVRP was an organisation aimed at recruiting among British sympathisers with the anti-Tsarist cause, the Society of Friends of Russian Freedom (SFRF).

Nonetheless, at various times attempts had been made to unify the opposition to Tsarism into a single «party». For instance, in the autumn of 1881 there was a rapprochement between the **Черный передел**, the nascent Marxist movement, and **Народная воля** over the issue of the role of terrorism in the revolutionary movement. These negotiations were intended to result in a joint publication, **«Вестник народной воли»**, and the setting-up of a

united anti-Tsarist political party (2). The next attempt at unification came after the regnancy of Lev Tikhomirov, who had, in 1887, from being a **народоволец**, turned tsar's evidence (3), — and also came to nothing.

A further attempt to form from the revolutionary movement a united front, came in the wake of the 1890-s famine in Russia. The Swiss exiles (mainly «the Liberation of Labour» group at the instigation of P.B. Aksel'rod) formed a Society to Fight the Famine' (Общество борьбы с голодом), whose aims were expounded in Plekhanov's article «The All-Russian Devastation» («Всероссийское разорение»). In it, he urged «all honest Russian people» to «immediately begin agitation for the convocation of a land assembly» земский собор, «without regard to party differences»: «Let each party and each fraction do whatever deed is suggested to it by its programme» (4). Lavrov replied refusing to collaborate with the **Фондовцы** on the grounds that they had opportunistically tailored their policies to suit British bourgeois public opinion (5). Aksel'rod wrote to Stepniak in February 1892 that collaboration with the Lavrovists was impossible since «they put minor personal accounts in the foreground and political considerations in the background» (6). Stepniak also refused the invitation to collaborate on the grounds that «I am definitely and unconditionally against organisations abroad which take it into their heads to lead affairs in Russia. Abroad is for one thing only literature, the theoretical working out of general and particular (practical) issues. Anything more than that is on the cunning side» (7).

The famine gave impetus to attempts by the opposition inside Russia to unify against Tsarism. M.A. Natanson, formerly a leading figure in the Chaikovskii circle of the early 1870s, formed an intellectual **кружок** in Saratov between 1890 and 1892. With his extensive network of acquaintances in the revolutionary movement, Natanson managed to establish links with N.K. Mikhailovskii, the leading **народник** theorist — soon to become the editor of «Русское богатство», the prominent legal **народнический** journal. Links were also established with the Союз groups (so known from the title of a review which it launched in January 1893, which called for «a union of revolutionaries in Russia» since in Russia «there is not yet a basis for party organisations on the European pattern» (8); and with the writer V. G. Korolenko in Nizhnii Novgorod. A «club, joined by both **народовольцы**... and marxists» (9) was formed in Kazan' in 1892. As David Soskice's autobiographical fragment shows (10), such non-party groups had existed on the Volga in the 1880s, too. In 1894 the Kasan' group united with similar groups in Orel, Samara and elsewhere to form the People's Right Party — Партия народного права. This party was in existence for just over a year in all—it was shattered by arrests in mid-1894—but included among its members Korolenko, Natanson, A. I. Bogdanovich,

P. N. Miliukov and V. M. Chernov. The members managed for some time thereafter to reconstitute the organisation in a looser form, the People's Right Society — Общество народного права .

The **народоправцы** had many contacts abroad, among them D.V. Soskice, who had escaped abroad in the summer of 1893 and forged links with the **фондовцы**. By 1894, the Фонд had published the Society's brochure «The Vital Question» — «Насущный вопрос» — and its manifesto in Russian in London (11). Another link was formed by V. G. Korolenko, who travelled in 1893 to the Chicago World's Fair as the correspondent of «Русские ведомости». On the way, he stopped off in London and met the **фондовцы**, who greatly admired his work, which the Фонд had published in Russian uncensored. Stepniak gave him a letter of introduction to L.B. Gol'denberg who introduced Korolenko to the Chicago representative of the Фонд, Egor Egorovich Lazarev. All of this became known to the Охрана, which had recruited Gol'denberg's associate, the US-resident Russian bookseller A.M. Evalenco, as an informer. Evalenco and Gol'denberg put to Korolenko the idea of publishing an all-party revolutionary newspaper. Lazarev then wrote to the principal emigrant colonies to L.I. Sishko in Paris, to the **фондовцы** in London and to Plekhanov in Geneva (12). In March 1894, Lazarev left for Paris and London to recruit a Central Committee for Russia. According to the Охрана's Paris bureau chief, V. L. Burtsev and Soskice were ready to return to Russia to act in this role. In the event, other emigres did return to Russia acting on behalf of the organisation but were arrested in a mass police intervention against **народоправцы** all over Russia on 21 April 1894. However, the ФВРП continued to have close links with **народоправцы**, publishing in 1897 and 1898 two Сборники the People's Right Society under the title «Наше Время». The PRS ceased to exist in 1898.

The next chapter of the «Russian opposition newspaper», a plan which had clearly not been abandoned by the emigrants, occurred at the end of 1895. A lawyer from Odessa, Lev Abramovich Kupernik, a former **народоправец**, came to London with an offer of financial help for a «united opposition» newspaper, to be called «Земский собор» — «The Land Assembly» — and to be edited by Stepniak. Negotiations were progressing well when Stepniak was killed in an accident at an unprotected railway crossing in Shepherd's Bush, West London on December 23, 1895. Feliks Vadimovich Volkovskii was the candidate editor to replace Stepniak, but he was not as acceptable to all parties as his predecessor had been, and Plekhanov refused to enter into any publishing venture headed by him (13).

In 1896, following the debacle of the «Земский собор». P. A. Dementiev (also known — in the USA — as Demens, and — in literary circles — as

P. A. Tverskoi), made a similar proposal to the Фондовцы: to publish an all-party journal, concentrating on the «political» issues of representative government, the rule of law and civil and human rights, on which it was thought that the entire emigration could agree. Whilst in America in 1893, V. G. Korolenko had met Dement'ev, who however produced an unsympathetic impression on him (14). The ФВРП in 1896 published Dement'ev's short story «По ошибке» and the following year brought out three issues of a journal «Современник» edited by him. The journal proved to be a failure in terms of its ideas, which fell short of the revolutionary content desired, and therefore in terms of its ability to unite the opposition (15).

By end of the 1890s, then, the aim of uniting the whole Russian anti-Tsarist movement under one harness had failed to be realised. In this respect only, Nikolai II was right to characterise his opponents' ambitions as «бессмысленные мечтания». The future of the movement lay not in unity and eclecticism, but in differentiation and purity of vision.

Bibliography:

1. Quoted in: Woodford McClelland, Revolutionary Exiles the First International and the Paris Commune. London 1979. P. 124.
2. Письма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова. Berlin. 1924. P. 24.
3. Там же. Р. 34—42 (Correspondence between Aksel'rod and the editorial
4. Плеханов Г. В. Всероссийское разорение. Женева. 1892. С. 37.
5. Письма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова. Berlin. 1924. P. 117—119.
6. Там же. Р. 128.
7. Ibid. P. 130 (Stepniak's letter to Комитет по борьбе с голодом.
8. Широкова В. В. Партия «народного права»: из истории освободительного движения 90-х гг. Саратов 1972. С. 29.
9. Невский В. Очерки по истории коммунистической партии. Л., 1925.
10. See my contribution to: Исторический архив. 1995. № 5—6.
11. John Slatter, The Russian Emigre Press in London, 1850—1917 // Slavonic and East European Review. October 1995. P. 716—747.
12. See his letter to Plekhanov, dated 10 November 1893, in which he insists that the source of the American money remain secret, // Литературное наследие Г. В. Плеханова. Т. I M., 1934 . С. 227.
13. See Plekhanov's first letter to Soskis dated 1 September 1896 // Литературное наследие Г. В. Плеханова. M., 1937. Т. 4. С. 305—6.
14. В. Г. Короленко, Избранные письма. M., 1932. Т. 1. С. 127.
15. See Soskis' note (VII) to his letter to Plekhanov // ИА 1995. № 5—6.

Казарова Н. А.
(Ростов-на-Дону, Россия).

Ю.О. МАРТОВ О БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ВЛАСТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РЕВОЛЮЦИИ

После Октябрьских событий 1917 г. вопросы о характере и перспективах революции, политике большевиков и собственной стратегии и тактике оказались в центре внимания лидеров меньшевистской партии, в первую очередь, Ю. О. Мартова. Полемизируя с П. Б. Аксельродом, который считал большевиков узурпаторами власти, Мартов писал, что большевики явились выразителями вполне законного возмущения широких слоев пролетариата политикой, которая в конечном счете определялась не политическими интересами русской революции, а военными интересами Антанты. Мартов считал, что и Февраль, и Октябрь были по своему характеру буржуазными революциями, и большевики выполнили историческую задачу: «извлекли Россию из всемирной войны, двинули вперед задержавшуюся аграрную революцию, очистили недостаточно очищенную Керенским администрацию от цепляющихся за прошлое элементов» (1).

Вместе с тем, подобно Великой Французской революции, русская революция вышла за пределы своих «исторических берегов». Французская революция в лице санкюлотов «стремилась перейти за исторические пределы буржуазно-демократической революции, создать на месте разрушенного феодального общества общество возможно менее дифференцированных самостоятельных производителей» (2). В подобной же ситуации в 1917 оказались большевики, выражавшие, по мнению Мартова, «социально-утопические чаяния значительной части пролетариата, стремление к немедленному установлению социального равенства» (3).

Из такого понимания характера революции вытекала и двойственная тактика Мартова по отношению к большевикам: поддержка их в реализации объективно назревших задач и критика утопических и антидемократических тенденций, ведущих, по его мнению, к якобинскому перерождению революции.

Мартов был первым из меньшевиков, кто поставил проблему конца революции и неизбежного термидорианского отступления. В марте 1918 он опубликовал статью «Накануне русского термидора» (4). Поворот к термидору Мартов связывал с двумя моментами в большевистской политике:

— с большевистскими репрессиями, главной из которых был разгон Учредительного собрания 6 января 1918,

— с мирным договором с Германией, заключенным 3 марта того же года в Брест-Литовске.

Разгон Учредительного собрания наносил ущерб демократическим за-воеваниям революции, а договор с Германией сводил социалистический идеал к решению чисто национальных задач. Эти события и побудили Мартова поставить вопрос: «Стоим ли мы накануне русского термидора?»

Мартов делает различие между переворотом 9 термидора и термидорианской реакцией. По его мнению, в день 9 термидора власть взяли подлинные революционеры, не уступавшие в радикализме политических и социальных взглядов павшему диктатору. Термидорианская реакция — это политика, которую вели против подлинных революционеров авантюристы, порожденные режимом диктатуры и террора.

Мартов считал, что в 1918, как и в 1794, на политической сцене выступали три силы:

1. Диктатор, окруженный группой фанатиков (Задолго до революции 1917 Плеханов говорил, что Ленин сделан из того же теста, что и Робеспьер, а Троцкий называл его «Максимилианом Лениным»);
2. Подлинные революционеры;
3. Термидорианцы.

Подлинными революционерами Мартов считал тех, кто на каждой стадии революции сражался за демократию. Если государственный переворот, подобный перевороту 9 термидора, опрокинет большевиков, социал-демократы, как подлинные революционеры, должны будут спасти революцию, не допустить наступления термидорианской реакции.

Вновь к проблеме конца революции Мартов обращается уже в эмиграции в 1921. Основные его взгляды по этому вопросу нашли отражение на страницах издававшегося им «Социалистического вестника», а также книги «Мировой большевизм», опубликованной в 1923 г.

С введением НЭПа о конце революции, о термидоре заговорили различные политические силы. Но, если сменовеховцы видели в нем единственное позитивное завершение революции, то для революционера Мартова термидор — символ контрреволюции, антидемократическая политика, направленная против пролетариата. Сам по себе НЭП — всего лишь экономическая политика, весьма позитивная и реалистичная. Мартов видит в ней шаг на пути к ликвидации утопии: «То, чего не смогли сделать Робеспьер и Сен-Жюст, когда их утопическая диктатура завела в тупик, — поворот к экономическому реализму, — то удалось большевистской партии без того, чтобы сразу же подорвать основы своего существования. В отличие от того, что было во Франции, у нас... начало лик-

видации утопического социализма взяла на себя сама диктатура, установившая этот режим» (5).

Но политический режим диктатуры несовместим с НЭПом. Именно в этой несовместимости Мартов видит термидор. В книге «Мировой большевизм» Мартов заявляет о термидорианском перерождении революции, обращает внимание на тождественность механизмов государственного управления, созданных в ходе французской и русской революций — диктатуры меньшинства (6). Эта диктатура уже подавила первое серьезное недовольство рабочего класса — Кронштадтский мятеж, развязала террор по отношению к другим партиям и, таким образом, уничтожила главную, в понимании Мартова, цель революции — демократию.

Библиография:

1. Социалистический Вестник. 1921. 15 октября.
2. Там же.
3. Социалистический Вестник. 1922. 19 января.
4. Мартов Ю. О. Накануне русского термидора // Вперед. 1918. 22 марта.
5. Мартов Ю. О. На пути к ликвидации // Социалистический Вестник. 1921. 1 ноября.
6. Мартов Ю. Мировой большевизм. Берлин. 1923. С. 39.

Усыскин Г. С.
(Санкт-Петербург, Россия)

ИСПОВЕДЬ «ЕРЕТИКА ОТ МАРКСИЗМА». А. А. БОГДАНОВ О Г. В. ПЛЕХАНОВЕ

(К выходу книги «Десятилетие отлучения от марксизма»).

Александр Александрович Богданов (Малиновский, 1873—1928) на рубеже 19—20в. относится к числу ведущих философов и ученых, являясь одновременно заметной фигурой в русском революционном движении, благодаря деятельности во фракции большевиков РСДРП.

Тем менее, и на этом имени на протяжении десятилетий лежала печать забвения. Лишь с середины 1980-х ситуация изменилась. Стали переиздаваться его главные работы, однако многие материалы лежали в архиве не востребованными.

В 1995 в Москве вышли три сборника под общим названием «Неизвестный Богданов». Третий — «Десятилетие отлучения от марксизма» — охватывает период с 1904 по 1914. Издать его легально предполагалось уже в 1914, но этого не случилось: начавшаяся первая мировая война и призыв Богданова в армию нарушили его планы. Октябрь 1917 сделал публикацию неосуществимой. После смерти А.А. Богданова книга попала сначала в НКВД СССР, затем, в июле 1938 года, поступила в Центральный партийный архив. Преемник ЦПА — РЦХИДНИ — нашел возможность опубликовать ее теперь.

«Десятилетие отлучения от марксизма» — книга особого жанра. Это не биография автора, не внешние факты его жизни. Богданов раскрывает свое понимание философской и политической борьбы в российской социал-демократии. В трактовке философских проблем мироздания и общественной жизни он стремится опереться на выдающиеся естественно-научные открытия 19 / 20 вв. Здесь Богданов пытается подвести итоги целого периода своей жизни. В одном из писем от 2.05.1914 к членам женевского идеиного кружка «Вперед» он сообщает, что пишет ответ «за всех и за вся», т. е. «по всей линии, в виде большого памфлета ... это будет подведение итогов в популярной и полемической, но не обычной форме» (1).

Перед нами действительно памфлет. По своему строению книга напоминает разбор дела еретика, который производится им самим. Об этом же говорят и названия глав: «Преступления отлученного», «Поток отлучений», «Соотлученные», «Отлучатели», «В общем и целом». Богданов вовсе не оправдывается, ибо нельзя доказать правоту еретика, который потому и

отлучен, что отстаивает свое право на собственное видение мира, на развитие идей, на создание новой науки, не освещенной высокими авторитетами прошлого. Полемизируя со своими отлучателями, автор не только старается опровергнуть их аргументы в старом споре, но и выступает против самого способа ведения ими полемики, против их способа мышления.

Анализируя свои «отлучения от марксизма», Богданов хотел содействовать выяснению позиций, и сам выбор слова «отлучение» уже показывал итог, который необходимо было вывести, по мнению Богданова, из его сопоставления с «ортодоксальным марксизмом»: «Нельзя непрерывно останавливаться и спрашивать себя: „А так ли у Маркса?“ или „Что говорит Плеханов?“ В действительности нельзя быть последователем учителя, не идя дальше него и не расходясь с ним» (2).

Первым и главным своим «отлучателем» А. А. Богданов называет Г. В. Плеханова. Третья глава — «Поток отлучений». Попробуем назвать лишь основные доводы А. А. Богданова. Как вел, по мнению Богданова, «священную войну», «сам» Г. В. Плеханов?

«В течение нескольких лет он писал обо мне очень часто, но не „опровергал“, не „доказывал“, а просто кратко, с малыми изменениями, повторял анафему, как будто она была уже делом, не подлежащим спору, бесповоротно решенным авторитетной инстанцией» (3).

Примерами из статей Плеханова Богданов иллюстрирует приемы подобной полемики, методы «опровержения»: «Вы кричите, как гусь, спасающий Капитолий»; «Возражения, от которых на сто верст кругом несет самой томительной путаницей понятий и самой губительной скучой»; «Приятно ли копаться в этой мышади?»; «Вы не только неудачный, но еще и немужественный критик ... Маркса и Энгельса»; «Вас еще в юности испортила Ваша философская мамка...» (4).

Богданов уверяет, что «Плеханов, несмотря ни на что, искренен в этих заявлениях, и действительно считает себя неизмеримо выше своего противника. Но тут-то и получается настоящая трагедия. Позиции страшно неравны» (5). Это все равно, что отстаивать истину абсолютную, застывшую, объясняет Богданов, против истины живой, вечно растущей.

Богданову представлялся совместимым критический дух учения Маркса и «монистическое понимание общественной жизни и развития» с «новейшим естественно-научным позитивизмом». Продолжая разбор «отлучательской» роли Г.В. Плеханова, А.А. Богданов специально написал еще «маленькую монографию, с рассмотрением всех сторон его многогранной отлучательской деятельности» (6).

Еще во Введении, объясняя, почему именно избран жанр памфлета, Богданов писал: «Пусть две стороны встретятся лицом к лицу и пусть рассудят их трети, те, кому принадлежит действительное право, те, чью коллективную мысль и волю признают одинаково еретики и отлучатели»(7). Авторитарное мышление, считает автор, было определенной исторической категорией, выражением конкретных исторических отношений, в которых массе «организованных» противопоставляется более или менее широкая группа «организаторов». Сам ход истории ведет к преодолению авторитарного мышления и падению фетишей, включая мнимую абсолютную истину марксизма и веру в нее.

Мастер «организационного подхода» к любой из задач, Богданов, выделив основные моменты, структурировал «монографию», включившую следующие разделы: «Его ученость», «Его последовательность», «Его полемика», «Его политика».

Рассказывая об уровне ведения Плехановым ученой полемики, Богданов показывает его основной прием: «Первым делом обвинить противника в невежестве, — что он этого не знает, того-то не изучал, еще того-то не читал» (8). Он делает нeliцеприятный для Г. В. Плеханова вывод: «Истинный ученый не швыряется необдуманными обвинениями в невежестве, не преувеличивает и не афиширует своей учености. Он, прежде всего, исследователь; его свойства — строгость и объективность. У Плеханова сколько угодно строгости, — но не научной, а генеральской» (9).

Резюмируя разговор о «последовательности, выдержанности философских принципов» Плеханова, Богданов приходит к выводам: «Судьба застала его, одного из первых русских марксистов, популяризовать социально-философские и общефилософские идеи Маркса и Энгельса. Выполнил он это не без ошибок; но дело было полезное и необходимое; да и судить об этих ошибках тогда было некому. Затем, по привычке вчерашних рабов, наши россияне стали обращаться к Плеханову за авторитетным разрешением всевозможных вопросов, в том числе философских» (10).

Это, по мнению Богданова, и сослужило Плеханову плохую службу. Плеханов, пользующийся славой блестящего полемиста, заслужил ее в предыдущий, «доотлучательский», период. Богданов же рассматривает деятельность Плеханова после 1905. Он обращается к плехановским переводам, намеренным упщениям иискажениям текстов. После этого, как, например, в случае с переводами Конрада Шмидта, Плеханов ведет с автором полемику, критикует его.

«Отлучение», как полагает Богданов, «явилось первоначально одним из эпизодов борьбы Плеханова против ставшего ему ненавистным «боль-

шевизма» (11). Об этом же писал и В.И. Ленин: «Плеханов в своих замечаниях против марксизма не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму» (12).

В «монографии» о Плеханове-отлучателе, Богданов, подводя итоги, признает, что его герой, «пользуясь огромным авторитетом», являясь «крестным отцом и одним из первых акушеров» марксизма, «в трудное время его зарождения принес для него с Запада необходимое идеическое питание», «энергично и стойко защищал его детство от окружавших со всех сторон идейных врагов» и «отдал ему лучшие годы и лучшие силы своей жизни». Но было это все в прошлом (13).

Далее А. А. Богданов переходит к портрету своего второго отлучателя — В. Ильина — В. И. Ленина. Делает он это еще более жестко. Чего стоит, например, только одна фраза из этой «монографии»: «В хорошее время Ильин был человеком большой и полезной работы: в плохое, трудное время он стал человеком тяжелых ошибок». Но в его характеристике не это худшая черта. Еще сильнее поражает его бешеная ненависть к свидетелям и способы борьбы против них» (14).

Подобные оценки не выглядят беспристрастными, а критика аргументированной и взвешенной. Это впечатление усиливается после знакомства с письмами А. М. Горького самому А. А. Богданову, близким другом и почитателем которого он был. Он писал ему в 1910г.: «Я, как Вам известно, очень уважаю и ценю Вас — мыслителя и революционера, но не стану отвечать на Ваши письма: вы пишете их слишком строго и так, точно вы — унтер-офицер, а я — рядовой вашего взвода» (15).

Говоря о богдановском «консерватизме и деспотизме», А. М. Горький отметил в письме к Г. А. Алексинскому: «Мне кажется, что он, Богданов, по натуре своей — не революционер, а систематик, человек с высоко развитым стремлением к синтезу, и, как всякий такой человек — консервативен и деспотичен. Людей же — всех! — презирает, числя себя безгранично умнее и значительнее их, отсюда его небрежное отношение ко всем. Но талантливый человек! И я глубоко уверен, что он многое сделает» (16).

Библиография:

1. «Неизвестный Богданов». Кн. 2. А.А. Богданов и группа РСДРП «Вперед». 1908—1914. М., 1995. С. 241.
2. Там же.
3. Богданов А. А. Десятилетие отлучения от марксизма. М., 1995. 87.
4. Там же. С. 91.

5. Там же. С. 93.
6. Там же. С. 131.
7. Там же.
8. Там же. С. 131.
9. Там же. С. 138.
10. Там же. С. 145.
11. Там же. С. 149.
12. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 377.
13. Богданов А. А. Десятилетие отлучения от марксизма. М. 1995. С. 154.
14. Там же. С. 162.
15. Археографический ежегодник за 1993 г. М. 1995. С. 193.
16. Там же.

Сакамото Х.
(Тояма, Япония)

ПОДВЕРГЛИ ПЛЕХАНОВ КРИТИКЕ МИХАЙЛОВСКОГО, НЕ ЧИТАЯ ЕГО СТАТЬИ?

Недавно я написал статью об исторических переменах оценки Плеханова, данной японскими исследователями, где указывал на то, что отношение к Г. В. Плеханову в 1930-х было критическим и осталось таким же и поныне (1).

Приведу в пример две не так давно опубликованные книги. Х. Мацувара, автор первой, носящей название «История русской интеллигенции», хотя и излагает почти исключительно взгляды Р. В. Иванова-Разумника, в частности, пишет о том, что Плеханов совершенно неправильно понял статью Михайловского «Герои и толпа» (1882). Плеханов, не читая эту статью, и, догадываясь о ее содержании только по заглавию, сделал поспешный вывод о том, что Михайловский проповедует субъективное убеждение, согласно которому всемогущие герои (т. е. народники или группа интеллигентов) должны агитировать и руководить толпой (т. е. крестьянской массой или народом), чтобы двигать историю вперед. А затем, с целью критики теории «героя и толпы», столь неправильно понятой, Плеханов написал широко известную работу «К вопросу о роли личности в истории» (1898) и вызвал тогда насмешки. Между тем, Михайловский занимался вопросами социальной психологии и нелогичных поступков толпы, и труд его в наши дни оценивают как предшествовавший теории подражания французского социолога Тарда.

С подобным взглядом мы встречаемся и в предисловии к недавно опубликованному переводу работы Н. К. Михайловского «Что такое прогресс?». Переводчик, И. Исикава, повторяет почти то же самое. Почему это происходит?

На наш взгляд, заслуживает внимания то обстоятельство, что оба исследователя упоминают о высказывании А. Валицкого, автора книги «Дискуссия вокруг капитализма» (1969), который пишет в ней о статье «Герои и толпа». В ней говорится, что Г. В. Плеханов, судя по заглавию статьи Михайловского, считал ее выражением «субъективного» убеждения относительно всемогущества «героев» (т. е. народнической интеллигенции), которые могут агитировать и руководить «толпой» (т. е. крестьянской массой). Между тем, взгляды Михайловского не имеют ничего общего с культом героев, и тема его статьи совсем не касалась вопроса о роли «субъективного фактора» в истории. Одним словом, теория «героев и тол-

пы» имела отношение к вопросам социальной психологии и нелогичных поступков „толпы“, предшествуя немного теории подражания Тарда». Из приведенных цитат следует, что оба японских исследователя принимают данное высказывание А. Валицкого.

На то, что теория «героев и толпы» имеет отношение к вопросам социальной психологии, первым обратил внимание Н. К. Михайловский. В январе 1895, рецензируя работу «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», он возражал Плеханову, указывавшему на «философское родство» Михайловского и Бруно Бауэра в вопросе о культе героев: «Я и оговорил, что мой „герой“ есть просто вожак, увлекающий толпу, может быть, и на великое, а может быть и на гнусное и глупое дело. Это было самым точным образом установлено в статье «Герои и толпа», где я пытался определить объективные условия, необходимые для возникновения той группы явлений, которая суммируется в словах «Герои и толпа» (2). И далее рецензент предлагал Плеханову заглянуть хоть в первые три странички названной статьи.

Однако, Плеханов не стал рассматривать поставленного Михайловским вопроса о статье «Герои и толпа». В Приложении II к книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» он писал: «Мы спрашиваем г. Михайловского, „утверждающего“, что г. Бельтов искал его учение о героях и толпе, думает ли он, подобно г. Н-ону, что общество может организовать производство? Если — да, то он именно стоит на той точке зрения, при которой общество, «интеллигенция», является героем, демиургом нашего будущего исторического развития, а миллионы производителей — толпой, из которой герой будет лепить то, что считает нужным вылепить сообразно своим идеалам» (3). Из этого видно, что Плеханов был так убежден в правильности своей характеристики взгляда Михайловского на героя и толпу, что не чувствовал никакой необходимости рассмотреть вопрос о статье «Герои и толпа».

В 1908, после смерти Михайловского, Иванов-Разумник в своей «Истории русской общественной мысли», снова упомянув об этом случае, писал:... теория героев и толпы, представляя работу по психологии массы, совершенно не входит в ряд основных идей Михайловского, но является случайной его экскурсией в область общественной психологии» (4).

Но и на этот раз Плеханов не дал прямого ответа, а, напротив, в рецензии, озаглавленной «Идеология мещанина нашего времени» указал, что «в числе „основных идей“ самого г. Иванова-Разумника «теория героев и толпы» занимает далеко-далеко не последнее место»(5), после чего Иванов-Разумник больше не выдвигал этого вопроса.

Итак, читал ли Г. В. Плеханов статью Н. К. Михайловского «Герои и толпа»? На наш взгляд, несомненно, читал: в 1882 Плеханов помещал статьи о К. Родбертусе в журнале «Отечественные записки», и странно было бы, если бы он не заинтересовался статьей редактора журнала. Но вполне возможно, что в 1895, через 13 лет, Плеханов забыл ее содержание. Кроме того, тогда еще не были изданы сочинения Н. К. Михайловского(1896—1897). Поэтому, на наш взгляд, смысл высказывания самого Михайловского в рецензии содержит лишь предложение вернуться к ней еще раз .

Остается еще один вопрос: была ли критика Плехановым Михайловского необоснованной? Посмотрим, что писал Плеханов по этому поводу: «Противоположение „героев массе“ („толпе“) перешло от Бруно Бауэра к его русским незаконнорожденным детям, и мы имеем теперь удовольствие созерцать его в статьях г. Михайловского» (6).

На наш взгляд, эти «статьи» не включают работу Михайловского «Герои и толпа». Вполне возможно, что Плеханов имеет в виду другие работы, в частности: «Еще о героях» (1891) и «Еще о толпе» (1893).

В первой, Михайловский, рецензируя книгу Т. Карлейля «Герои, культ героев и героическое в истории», разделяет авторское мнение о том, что герой не является продуктом своего времени». Во второй, имеется, в частности, такое высказывание: «Нельзя возлагать надежды на великолудные и бескорыстные порывы толпы, — их можно только утилизировать» (7). Несомненно, что в статьях Н. К. Михайловского 1890-х вопросу о роли субъективного фактора в истории уделено больше внимания, чем это было сделано в работе «Герои и толпа». Это позволяет сделать вывод о том, что Г. В. Плеханов написал приведенные слова не без основания.

Библиография:

1. Сакамото Хироси. Философское наследие Плеханова в Японии: Обзор переводов и исследований // Japanese Slavic and East European Studies. — 1994/ — Vol/15/ — С. 97—106.
2. Михайловский Н. К. Полн. собр. соч. Т. 8. Спб., 1914. С. 22.
3. Плеханов Г. В. Избранные филос. произведения. Т. 1. М., 1956. С. 769
4. Иванов-Разумник. Р.В. История русской общественной мысли. Т. 2. Спб., 1908. С. 369.
5. Плеханов Г. В. Там же. Т. 5. С. 544.
6. Плеханов Г. В. Там же. Т. 1. С. 735
7. Михайловский Н. К. Т. 2. 1905.

Карачев А. В.
(Санкт-Петербург, Россия)

ЛИСТОВКИ ГРУППЫ «ЕДИНСТВО» (1917—1918 гг.)

Среди многообразия российских политических партий и объединений в 1917—1918 особое место занимала группа «Единство» во главе с Г.В. Плехановым. Группа возникла в 1914, организационно оформилась в марте 1917, когда, незадолго до приезда Г. В. Плеханова в Россию, его единомышленники создали Временный комитет группы «Единство» и выпустили листовку «Об отношении к войне, к Временному правительству и о положении в РСДРП» (1). 29 марта группа начала издавать газету «Единство». 31 марта в Петроград из эмиграции возвратился Г. В. Плеханов, который на собрании группы 9 апреля был избран ее председателем (2). В основу создания группы «Единство» легла идея Г. В. Плеханова и его соратников о необходимости достижения единства социал-демократического движения в России, разбитого на ряд самостоятельных групп и течений: «Партия пролетариата должна быть единой, как един пролетариат.» (3).

Взгляды на главные вопросы революции Г.В. Плеханова и группы «Единство» нашли отражение не только на страницах газеты «Единство», в программных выступлениях Плеханова и других членов группы, но и в листовках, выпускавшихся группой. Их изданию, как одному из видов агитационно-пропагандистской работы, группа придавала особое значение. В виде листовок было издано множество различных документов группы: декларации, резолюции, избирательные списки, обращения к народу, речи и выступления Г.В. Плеханова.

В настоящее время выявлено около 50 различных листовок, изданных в Петрограде и местными отделениями группы в Вологде, Симферополе, Гельсингфорсе, Москве, Царском Селе, Ржеве, Самаре. В Петрограде практически в каждом районе был свой комитет, который старался издавать листовки с призывами вступать в ряды «Единства», разъяснял позицию и тактику группы по различным вопросам социально-политической жизни страны.

В этом плане характерно «Воззвание к рабочим» Василеостровской группы «Единство», вышедшее в мае 1917, содержавшее политические лозунги дня: «Опасен враг, грозящий извне, вдвое опасен теперь, когда многие солдаты, очарованные криками „Долой войну!“, „Братанье!“, дрогнули и начали забывать эту опасность — опасен этот враг, но не менее опасны услужливые фанатики дома»; Призывы к конкретным действиям:

«Пока еще не поздно, объединимся все для защиты всего того, что нам дала и еще даст Великая революция, для предупреждения гражданской войны... Товарищи! Не медлите и стройтесь в ряды под знаменем С. Д. группы «Единство.» (4).

В городах, где не было партийного печатного органа, а таких было большинство, листовки, плакаты, афиши были, пожалуй, единственным средством печатной информации о деятельности группы. Следует отметить, что заметное влияние группа имела в крупных промышленных городах, где преобладающее большинство населения составляли квалифицированные рабочие, научная и творческая интеллигенция, и где в центральных городских газетах были представители группы «Единство». Так, Н. М. Архангельский являлся редактором-издателем «Саратовского вестника», а Н. В. Зубовский был ответственным редактором «Голоса народа» (Орел).

В Вологде в распоряжении местного комитета группы «Единство» оказалось издательство «Северный социал-демократ». Было выпущено воззвание о целях и задачах группы, а также листовки: «Что такое народо-правство», «Что такое Учредительное собрание и для чего оно нужно», «Чего социал-демократы добиваются для крестьян» — по 10.000 экземпляров каждая; «Какое нам нужно городское самоуправление» — 5.000 экземпляров; «Невольники прилавка и конторки» — 3.000 экземпляров (5).

Участие «Единства» в избирательных кампаниях вызвало необходимость в издании, прежде всего, листовок, являвшихся надежным и проверенным средством пропагандистского воздействия на умы и чувства людей. К выборам в городские думы в Москве вышло воззвание «К сознательным рабочим г. Москвы» (6), а в Петрограде — обращение к избирателям с просьбой голосовать за список № 6 Всероссийской социал-демократической организации «Единство» (7).

Содержание выпускавшихся группой «Единство» листовок необычайно разнообразно и охватывает различные стороны жизни страны и деятельности группы. Наибольшее количество листовок связано с отражением взглядов группы на политическую обстановку в стране. И здесь ведущая роль принадлежала Г. В. Плеханову. О несвоевременности социалистической революции, о неготовности пролетариата взять власть в свои руки и управлять страной писал Плеханов в «Открытом письме к петроградским рабочим» (8), о задачах рабочего класса в революции — в «Телеграмме» (9). Выступление Плеханова на Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, ставшее одним из программных, было отпечатано в виде листовки в июне 1917 (10).

Большую агитационную работу проводили и члены ЦК «Единства». Так, Г. А. Алексинский неоднократно выезжал в Феодосию, Ржев, Вологду с лекциями. Об этом свидетельствуют афиши, выпущенные в этих городах: «Что делать для спасения России? Лекция Г. А. Алексинского в большой аудитории мужской гимназии. 1917. 6 сент. Феодосия.»; «Что нужно для спасения России? (По поводу Московского совещания). Лекция Г. А. Алексинского, члена Всероссийской организации «Единство». 1917. 18 авг. Ржев.» (11). Жена Г. А. Алексинского сообщает: «По поручению ЦК „Единства“ муж уехал в Вологду проводить избирательную кампанию в Учредительное собрание» (12).

В некоторых случаях выступления членов группы «Единства» являлись катализатором для возникновения отделений группы в других городах. Например, в Вологде местная группа «Единство» образовалась в конце апреля 1917 — после лекции А. И. Гидони. Первоначально к группе примкнуло около 30 человек (13).

В июле 1917, после совещания, в котором приняли участие представители 21 группы из разных городов России, «Единство» было преобразовано во Всероссийскую организацию. К концу сентября в нее входили уже 34 группы (14). Согласно многолетним подсчетам автора, таких групп насчитывалось, как минимум, 60. Организация продолжила активную работу по агитации среди населения, в армии, на промышленных предприятиях, организовывала агитационные поездки на фронт. Об этом свидетельствуют «Бюллетень Всероссийской организации „Единство“» от 25 августа 1917 (15), «Декларация Симферопольской группы Всероссийской социал-демократической организации „Единство“» (16) и др.

После Октябрьской революции Всероссийским Комитетом спасения Родины и революции, в который входила группа «Единство», было выпущено воззвание: «Гражданам Российской Республики!», в котором была дана характеристика произшедшему событию: «Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всеми желанный мир. Гражданская война, начатая большевиками, грозит ввергнуть страну в неописуемые ужасы анархии и контрреволюции и сорвать Учредительное собрание. Не признавайте власти насилиников!» (17).

Затем, в начале 1918, последовал роспуск Учредительного собрания, который «Единство» решительно осудило. Петроградским городским комитетом организации на улицах города распространялось «Письмо к рабочим»: «Учредительное собрание разогнано насилиниками. Это произошло потому, что на стороне господствующего меньшинства находится большинство людей вооруженных. 5 января 1918 года показало это весьма наглядно. Собы-

тия этого и последующих дней с большой ясностью обнаружили истинную сущность нынешней власти, ее тиранический характер. (18).

«Единство» пыталось вести политическую деятельность, хотя его положение и было очень сложным. Тяжело болен был глава группы Г. В. Плеханов. Большевики закрыли орган ЦК «Единства», многие члены группы ушли в подполье. 1 мая 1918 Московский комитет организации выпустил прокламацию «К работникам и рабочим г. Москвы» с разъяснениями, почему «Единство» не празднует 1 Мая: «Потому что мы не хотим идти на праздник, устраиваемый людьми, разогнавшими Учредительное собрание, душащими свободное слово, насилиющими свободную совесть и гноящими в тюрьмах наших товарищей социалистов.» (19).

Выступавший по этому вопросу на политическом митинге Г. А. Алексинский 27 апреля 1918 был сразу же арестован чекистами и препровожден в тюрьму (20).

30 мая умер после продолжительной болезни Г. В. Плеханов. Московский комитет организации «Единство» выпустил листовку в связи с кончиной Плеханова, в которой отмечалось: «На собрании комитета нам сообщили, что сообщения о гражданской панихиде срываются на улицах неизвестно кем. Решили передать расклейку извещения рабочим типографии Левинсон и, кроме того, мы, члены комитета, поделили районы, где будем собственноручно приклеивать листки с извещением о кончине Г. В. Плеханова.» (21).

В августе 1918 проходило совещание «Единства», на котором была принята резолюция по общей политике и победе союзников в мировой войне (22). Анализ листовочного материала не подтверждает выводы некоторых исследователей о том, что летом 1918, после смерти Г. В. Плеханова, организация «Единство» распалась (23). В Киеве местный комитет организации «Единство», который был создан еще в июне 1917 (24), выпустил в 1919 «Декларацию» (25).

Ранее в работах по отечественной истории преимущественное внимание уделялось большевистским листовкам и почти ничего не говорилось об использовании этой формы борьбы их политическими противниками. В этом плане листовки группы «Единство» представляют значительный интерес как исторический документ бурных революционных событий 1917—1918 г.

Библиография:

1. Единство. 1917. 29 сентября.
2. Единство. 1917. 11 апреля.

3. Единство. 1917. 29 марта.
4. РНБ. ОСХ. Неорганизованный фонд листовок.
5. Единство. 1917. 31 августа.
6. РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 5. Ед. хр. 518.
7. РНБ. ОСХ. Неорганизованный фонд листовок.
8. РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 5. Ед. хр. 570.
9. Там же. Ед. хр. 488.
10. Там же. Ед. хр. 487.
11. Митинги, собрания, лекции в 1917—1918 гг. Пг., Госиздат. 1920. С. 70, 46.
12. Алексинская Т. 1917 год // Новый журнал. 1968. Кн. 91. С. 189.
13. Единство. 1917. 31 августа.
14. Единство. 1917. 23 июля, 29 сентября.
15. РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 5. Ед. хр. 491.
16. Там же. Ед. хр. 480.
17. РНБ. ОСХ. Неорганизованный фонд листовок.
18. Там же.
19. Там же.
20. Алексинская Т. 1917 год // Новый журнал. 1968. Кн. 91. С. 201—202.
21. Там же. Кн. 92. С. 225.
22. РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 5. Ед. хр. 580. Н. 9.266.
23. Великая Октябрьская Социалистическая революция. Энциклопедия. М. 1987. С. 294 и др.
24. Знамя труда. 1917. № 82. 29 июня.
25. Библиография русской революции и гражданской войны (1917—1921). Прага. 1938. С. 285.

Чернобаев А. А.
(Москва, Россия)

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ Г.В. ПЛЕХАНОВА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ»

Важное значение в деле дальнейшего углубленного изучения жизни и деятельности Г. В. Плеханова имеет введение в научный оборот новых документальных источников. Журнал «Исторический архив», издание которого возобновилось, после 30-летнего перерыва, в конце 1992, опубликовал три подборки документов, характеризующих различные стороны общественно-политической деятельности выдающегося русского философа-марксиста.

Одна из этих подборок — документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), отражающие работу Г. В. Плеханова в апреле — мае 1917 в Комиссии (Совещании) по улучшению материального положения железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих (1). Председателем этой Комиссии (в дальнейшем ее стали именовать «Комиссией Плеханова») Георгий Валентинович был единогласно избран вскоре после возвращения в Россию из эмиграции. Об этом свидетельствует официальное сообщение об организационном заседании Комиссии, состоявшемся 9 апреля 1917 в Министерстве путей сообщения. Г. В. Плеханов согласился принять на себя обязанности председателя, т. к. вопросам труда на железных дорогах придавал первостепенное значение (2).

Из обширного комплекса материалов, входящих в состав архивного фонда № 1809 «Бюро заработок при Особом совещании по улучшению материального положения железнодорожников», в подборку включены 14 документов, главным образом машинописных или рукописных подлинников. Среди них: письма железнодорожников, адресованные непосредственно Г. В. Плеханову, с его пометками; протоколы (журналы) трех заседаний Комиссии, на которых он председательствовал (всего состоялось 11 заседаний); циркуляры Министерства путей сообщения, связанные с работой Комиссии, среди которых есть и подписанные Г. В. Плехановым; сведения с мест о прожиточном минимуме как непосредственное свидетельство тяжелого материального положения трудящихся.

Научное значение публикуемых документов состоит, прежде всего, в том, что они опровергают утверждавшееся в отечественной историографии представление об отходе Г. В. Плеханова в 1917 от активной общественной деятельности. Сам факт участия Георгия Валентиновича в работе указ-

занной Комиссии не только существенно повышал авторитет ее решений, но и предопределял широту подходов, глубину проработки предложений, максимально возможную в тот период заботу о нуждах железнодорожников. Несмотря на то, что «пленхановские прибавки», введенные летом 1917 в железнодорожном и некоторых других ведомствах, не принесли реального облегчения трудающимся, они способствовали усилению борьбы рабочих и служащих за свои права.

Несомненный интерес представляет опубликованное в «Историческом архиве» письмо Г.В. Плеханова в редакцию газеты «Русское слово», относящееся к лету 1909 (3). Документ хранится в Доме Плеханова (Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки) в архивном фонде № 1093 и представляет собой черновик письма, написанного, вероятно, под диктовку секретарем Георгия Валентиновича М. Я. Бабиным. История его появления такова.

Сенсационное разоблачение в начале 1909 провокаторства одного из лидеров партии социалистов-революционеров Е. Ф. Азефа вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Редакция крупной московской газеты «Русское слово» поручила своему специальному корреспонденту И. Троцкому собрать материал о провокаторе. На основе дневников, протоколов, интервью и бесед с людьми, знавшими в той или иной степени его «героя», журналист подготовил серию статей, опубликованных в одиннадцати номерах газеты, в т. ч. в № 117 от 24 мая (6 июня) — статью, написанную на основе личной беседы о «деле Азефа» с Плехановым. Однако И. Троцкий допустил ряд неточностей, позволявших двусмысленно толковать взгляды Плеханова на причины провокаторства в ПСР. С целью уточнения своей позиции Г. В. Плеханов и решил обратиться в редакцию «Русского слова» с соответствующим письмом. При этом он выражал надежду, что редакция позволит ему сделать необходимые поправки на страницах газеты. Но последняя ограничилась передачей смысла его разъяснений в заметке «От редакции».

В письме Плеханова существенное значение имеют два момента. Во-первых, он отмечает: «Азеф мог водить с-р-ов за нос только потому, что они слабы, а слабы они потому, что главные силы подполья привлекала к себе социал-демократия». Такова, подчеркивает автор, «моя мысль». И именно ее неточно передал И. Троцкий, из статьи которого можно заключить, будто, по мнению Плеханова, появление Азефов является неизбежным плодом «подполья». Между тем, утверждал Георгий Валентинович, причинно-следственной связи между провокаторством и «подпольной» деятельностью нет; больше того, само существование последней обусловле-

но конкретными обстоятельствами: «Главное то, что в разное время и «подполье» история ставит разные задачи». В начале 20 в., в отличие от периода деятельности «Народной воли», выдающиеся революционеры симпатизируют не «террору», а направляются совершенно в другую сторону, намеченную социал-демократической программой.

Что касается формы выражения своей основной мысли, продолжал Плеханов, — и это второй существенный момент его письма — то он стремился в разговоре с Троцким избегать резких выражений против эсеров, т. к. «было бы некорошо, если бы я вздумал нападать теперь на социалистов-революционеров». В изображении же корреспондента «я вышел человеком, проникнутым по отношению к ним самыми воинственными намерениями» (4).

Письмо в редакцию «Русского слова» имеет важное значение как для понимания взглядов Плеханова по ряду принципиальных вопросов (о терроре, провокаторстве и т. д.), так и для характеристики его нравственной позиции — нежелании «нападать» на партию социалистов-революционеров, пользуясь разоблачением Азефа.

Третья подборка документов Плеханова, опубликованная на страницах «Исторического архива» (5), относится к 1898—1900. В настоящее время автографы данных писем хранятся в Архиве Палаты лордов в Лондоне. Краткие сведения о том, как они там оказались, приводятся во вводной статье к публикации. В процессе ее подготовки известный английскийственный доктор Дж. Слэттер, специализирующийся на исследовании проблем истории российского революционного движения, любезно откликнулся на мою просьбу и прислал ксерокопии четырех неизвестных нам ранее писем Георгия Валентиновича; все они переданы в Дом Плеханова.

Большое значение вновь введенных в научный оборот источников состоит в том, что они дополняют или конкретизируют известную по более ранним публикациям переписку Плеханова с русским эмигрантом Давидом Владимировичем Соскисом. В 1898—1903 статьи последнего публиковались в журналах «Начало», «Северные записки», «Жизнь», «Правда» и др. (литературный псевдоним — Д. Сатурин). В 1890-х он тяготел к социал-демократам, позднее был членом Аграрно-социалистической лиги и Партии социалистов-революционеров. О знакомстве Соскиса с Плехановым летом 1893 говорится во фрагменте его автобиографии, опубликованной в приложении к той же подборке документов.

Переписка Г. В. Плеханова с Д. В. Соскисом, при изучении которой необходимо использовать все их письма, включая опубликованные в сборниках «Литературное наследие Г. В. Плеханова» и «Философско-литера-

турное наследие Г. В. Плеханова», затрагивает важные моменты в истории российского революционного движения конца 1890-х. В них говорится о борьбе против ревизионизма внутри социал-демократического движения; о работе Георгия Валентиновича над переизданием «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, в связи с чем была написана его статья «Первые фазы учения о классовой борьбе». Кроме того, переписка содержит немало данных об условиях жизни и быта Плеханова, его психологическом и душевном настрое.

Новые источники, опубликованные на страницах «Исторического архива», существенно дополняют сведения о политической и научной биографии Г. В. Плеханова. Редакция журнала выражает надежду, что исследователи, в т. ч. принимающие участие в 4-х Плехановских чтениях, продолжат работу по выявлению и публикации архивных документов о выдающемся русском мыслителе и революционере.

Библиография:

1. «Плехановские прибавки». Публ. А. Л. Райхцаума // Исторический архив. 1993. № 5.
2. Плеханов Г. В. В Свободной России. Пг. 1919. С. 15.
3. Г. В. Плеханов и «дело Азефа» Публ. М. В. Прониной. // Исторический архив. 1996. № 2.
4. Там же.
5. Я бодро смотрю вперед. Письма Г. В. Плеханова Д. В. Соскису. Публ. Дж. Слэттер // Исторический архив. 1995. № 5—6.

Бережанский А. С.
(Липецк, Россия)

НОВЫЕ СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Сведения о родословной Г. В. Плеханова, составе первой и второй семьи его отца, учебе и службе старших братьев, происхождении матери биографами Г. В. Плеханова приводятся преимущественно на основании семейных преданий, взятых из воспоминаний его сестер В. В. Позняковой и К. В. Плехановой, их переписки с Георгием Валентиновичем и его семьей, биографических данных, почерпнутых Л. Г. Дейчем в беседах с Плехановым, замечаний и добавлений Н. А. Семашко к биографиям Плеханова, выходивших в 1920-х — 1930-х, а также материалов, собранных Р. М. Плехановой при посещении родины мужа — Липецка и Гудаловки. При всей своей несомненной и неоспоримой ценности, эти сведения не свободны от ошибок, неточностей и противоречий, присущих воспоминаниям, исправить которые можно только привлекая архивные источники.

Материалы Государственного архива Тамбовской области (ГАТО) и Российского Государственного Военного-исторического архива (РГВИА) позволяют внести ясность в освещение следующих вопросов биографии Г. В. Плеханова.

1. Принадлежность Г. В. Плеханова к потомственным дворянам Тамбовской губернии.

Дед Георгия Валентиновича, Петр Семенович Плеханов (ок. 1777—1813\15), отец, Валентин Петрович Плеханов (1810—1873), дети последнего от первого и второго брака были занесены в Родословную дворянскую Тамбовской губернии книгу, куда записывались потомственные дворяне. На деда было заведено «Дело Тамбовского дворянского депутатского собрания о дворянстве рода майора Петра Семенова Плеханова» (1). Из послужных списков деда и отца Г. В. Плеханова следует, что Петр Семенович служил в армии с 1790 по 1808, вышел в отставку «майором и с мундирем» (2). В соответствии с Табелью о рангах это звание относило его к III группе («Штаб-офицерскому составу») и давало VIII класс с правом на потомственное дворянство. Валентин Петрович Плеханов был на военной службе с 1827 по 1834, в отставку вышел штабс-капитаном. Его гражданская служба продолжалась с перерывами с 1838 по 1849. Он служил приставом I-го стана Липецкого уезда, помощником окружного начальника в городах Острогожске и Новохопёрске Воронежской губернии, позже — старшим заседателем от дворян в Липецком уездном суде (3).

2. Состав первой и второй семьи отца Г. В. Плеханова.

Первой женой Валентина Петровича Плеханова была Вера Ивановна Познякова (1818—1854), происходившая из знатного татарского рода, получившего дворянство при царе Михаиле Романове. Ее родителями были титулярный советник Иван Григорьевич Позняков и его жена Любовь Афанасьевна, как это следует из родословной книги «Дело Тамбовского дворянского депутатского собрания о дворянстве рода из мурз Ногая Вялшина (или Вялшиновича?) Познякова». От этого брака Валентин Петрович имел трех дочерей: Любовь (1836—1912), Софью (1845—1880), Марию (1850—1920), — мать Н. А. Семашко; пятерых сыновей: Александра, Петра, (р. в 1844, умер в раннем детстве), Митрофана, Николая, Григория. От второго брака, — с Марией Федоровной, урожденной Белынской, — кроме Георгия Валентиновича, было трое сыновей: Федор (1861—1880), Владимир (р. в 1864, умер в раннем детстве), Евгений (р. в 1867, умер в раннем детстве); три дочери: Александра (1860—1886), Варвара (1863—1922), Клавдия (1866—1946) (4).

3. Учеба и военная служба старших братьев Г. В. Плеханова.

Александр Валентинович Плеханов родился в Новохопорске в 1842, учился в Воронежском кадетском корпусе (1858—1863), затем в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге (1863—1866). Служил в различных батареях 6-й Артиллерийской бригады, входившей в состав Варшавской крепостной артиллерии. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878. В марте 1878 в составе бригады был направлен в Новогеоргиевск, затем в звании капитана артиллерии переведен в Пултуск. В ночь с 8 на 9 августа 1882 покончил жизнь самоубийством. Существует докладная записка начальника земской стражи Пултусского уезда судебному следователю Ломжинского окружного суда по Пултускому уезду с объяснением обстоятельств смерти (5).

Митрофан Валентинович Плеханов родился в Липецке в 1848, учился в Воронежском кадетском корпусе, преобразованном в военную гимназию (1861—1866), затем во 2-ом Константиновском военном артиллерийском училище в Петербурге (1866—1868). По окончании был зачислен в Лейб-гвардии Гренадерский полк, откуда через 4 года направлен учиться в Николаевскую академию Генерального штаба (1872—1875). Затем направлен в распоряжение штаба Киевского военного округа (6). До лета 1876, когда его жизнь трагически оборвалась, в чине штабс-капитана занимал должность старшего адъютанта штаба 33-й пехотной дивизии (7).

Николай Валентинович Плеханов родился в Гудаловке в 1852, учился в Воронежской военной гимназии (1863—1869). Но, в отличие от братьев,

«за неуспехи в науках выписан на действительную службу юнкером в 7-ой Гренадерский самочитский эрц-герцога Франца-Карла полк» (8). По прибытии на службу был направлен на учебу в Варшавское пехотное юнкерское училище, по окончании которого в июне 1871 произведен в офицеры. На военной службе провел около 27 лет. Участвовал в Русско-турецкой войне. В 1898 в должности командира батальона 117-го Ярославского пехотного полка ушел в отставку «по прощению полковнику с мундирем и пенссией» (9). Жил в Рязани, затем в Москве, умер в 1928.

Григорий Валентинович Плеханов родился в Гудаловке в 1854, учился в Воронежской военной гимназии (1865—1871), затем, с перерывом, — в Московском пехотном юнкерском училище (1871—1874). В составе 69-го Рязанского пехотного полка участвовал в Русско-турецкой войне. В отставку уволен «капитаном и с мундирем» в 1886. С 1889 — на гражданской службе: приставом 3-го стана Козловского уезда, затем — помощником исправника Кирсановского уезда. Позже перевелся в Моршанске, где в 1896 стал уездным исправником. В 1903 переведен в той же должности в Спасск (как отмечала М. В. Семашко в письме Георгию Валентиновичу Плеханову, «за небрежность по службе») (10). В мае 1906 ушел в отставку, переехал в Рязань (11). Умер в 1912 или 1916.

4. Происхождение матери Г. В. Плеханова Марии Федоровны.

Дед Марии Федоровны, Дмитрий Павлович Белынский, происходил из «обер-офицерских детей». Его отец, согласно табели о рангах, принадлежал ко 2-ой группе («Обер-офицерскому составу») служилого сословия, имевшему право на личное дворянство. Он начал военную службу двадцати лет в 1878 в Фанагорийском гренадерском полку. Вышел в отставку в 1789 «за болезнью с награждением поручичья чина» (12), дослужившись до личного дворянства. Отец Марии Федоровны — Федор Дмитриевич — родился в Усмани Тамбовской губернии в 1802, служил канцеляристом в Усманском уездном суде. В 1843 он уже значился титулярным советником (13), т. е. также получил право на личное дворянство. От первого брака родилось трое детей: Иван (р. в 1827), Агния (р. в 1830) и Мария (р. в 1832) — мать Георгия Валентиновича; от второго — Александр (р. в 1835), Лариса (р. в 1837), Василий (р. в 1843) и Лидия (14).

Почти все авторы, писавшие о Г. В. Плеханове, ссылаясь на семейные предания Плехановых, отмечали, что Мария Федоровна являлась родственницей В. Г. Белинского (племянницей или внучатой племянницей). Однако анализ родословных В. Г. Белинского и Марии Федоровны не подтверждает это: никакие родственные связи между тремя поколениями семейства В. Г. Белинского (его самого и его братьев Константина и

Никанора, его отца Григория Никифоровича с братьями Андреем и Кузьмой Никифоровичами, деда Никифора Трифонова с братом Алексеем Трифоновым) и тремя поколениями семьи Марии Федоровны не выявляются(15). Остается предположить, что общность фамилии объясняется, быть может, общим происхождением их предков из села Белыни Пензенской губернии.

Библиография:

1. ГАТО. Ф. 161. Оп. 3. № 153.
2. Там же. Л. 3.
3. Там же. Л. 20, 20 об.
4. Там же. Л. 22, 38, 43, 58.
5. РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. № 12620. Л. 10—13.
6. Там же. Ф. 400. Оп. 21. № 687. Л. 81, 81 об.
7. Там же. Ф. 1759. Оп. 2. № 284. Л. 196.
8. Там же. Ф. 400. Оп. 9. № 6934. Л. 6.
9. Там же. Ф. 400. Оп. 17. № 10850. Л. 7, 28 об.
10. РНБ. АДП. Ф. 1093. Оп. 3. № 660. В. 384.6.
11. ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. № 153. Л. 142 об., 143 об., 145—146, 153, 166, 184.
12. Там же. Ф. 161. Оп. 1. № 2186. Л. 1—3.
13. Там же. Л. 4.
14. Там же. Ф. 161. Оп. 2. № 139. Л. 7.
15. Эти данные получены В. П. Жучковым в ходе изучения родословных семей В. Г. Белинского и Г. В. Плеханова.

Лебедев Г. С.
(Санкт-Петербург, Россия)

БАЛТИЙСКАЯ МОРСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ И ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИФ.

Предыстория Петербурга, в свете исследований русского и северо-европейского урбанизма, выполненных в последние десятилетия, восходит к генезису архаического урбанизма народов и стран Балтики (включая Северо-Западную, прибалтийскую «Русь Рюрика», Новгородско-Псковскую землю русского Средневековья). Двести лет спустя, после первых историко-философских определений И. Г. Гердера (1782), конкретизировались представления о самостоятельной культурной общности, симметричной античному Средиземноморью в культурной истории Европы — «Балтийской цивилизации эпохи викингов» (1).

Эпоха викингов (8—11 вв.) — это время становления балтийского урбанизма, международной торговли, системы коммуникаций, то есть суммы явлений, определяемых как Балтийская морская цивилизация (2). Специфика этой новой для Европы раннего средневековья культурной общности состоит в ее местной (скандинаво-славяно-балто-финской) этно-культурной основе и дохристианском (языческом) религиозно-мифологическом характере. Требует дальнейшего изучения начальная природа «мифологии пространства» архаической Балтики (и Фенноскандинавии), видимо восходящая к опыту первичного освоения пространства (и его «геомансию» планетарных энергетических структур) средствами первобытных культур (саамов), наследованными всеми последующими культурами макрорегиона (мифология Камня, Острова Мертвых и др.). Равным образом, античная традиция сохранила следы взаимодействия этого региона с сакральными центрами Средиземноморья («священные пути» гипербореев Геродота и др.), которые требуют еще изучения и дешифровки.

По мере становления архаического балтийского урбанизма эпохи викингов, объединение его с цивилизацией, основанной на традиции античного Средиземноморья (римско-византийско-исламской) осуществлялось при посредстве восточноевропейской системы водных (речных) коммуникаций, важнейшим звеном которой был Волховско-Днепровский путь из Варяг в Греки на территории Древней Руси. Вместе с Волжским путем, он обеспечил вовлечение в экономику Балтийской цивилизации новых средиземноморских ценностей, составлявших сумму не менее 1 млрд. арабских дирхемов (эквивалентно 4—5 млрд. долларов США).

Эти инвестиции в странах Скандинавии, Балтии, Восточной Европы стали основой процесса урбанизации, развивавшегося от архаических структур («*vic-structure*») 8—9 вв. к средневековому укрепленному городу 10—12 вв. Урбанизм стал политической основой абсолютистской власти национальных государств Скандинавии, Польши, России, осуществлявших христианизацию своих стран и таким образом, в 11 в. завершивших становление единой феодально-христианской Европы.

В христианской культуре Древней Руси базовая магистраль системы коммуникаций 9—11 вв., летописный Путь из Варяг в Греции (ПВГ) был осознан на пространственно-мифологическом уровне как профетический путь Св. Апостола Андрея Первозванного. Войдя в вводный текст «Повести временных лет» (ПВЛ), эта мифологема сохраняла свое значение вплоть до петровской эпохи включительно (3). «Андреевская мифологема» ПВГ неявно связана с дохристианской (предхристианской) структурой сакральных коммуникаций и центров («тогохронов мифологии») Северо-европейского пространства (включая такие макрообъекты как Ладожское озеро с архипелагом Валаам) наравне с зафиксированными ПВЛ сакральными значениями крупнейших центров древнерусского урбанизма, Киева и Новгорода.

Становление пространственной структуры Древней Руси, как и Скандинавии происходило, главным образом, за счет освоения (христианизации) дохристианских токохронов (Св. Владимир ставил храмы «иде же стояху кумири»), что вполне отвечает и архаической дохристианской практике освоения пространства (если следовать наставлениям Платона для древнегреческих колонистов). При этом неизбежна (и необходима) контаминация локальной пространственной мифологии с метафизическими конструктами христианства (как одной из высших форм мировых религий).

В пору начальной христианизации Руси и Северной Европы внутренние области Балтийского пространства западных славян, балтов, финнов, оставались языческими и стали объектом экспансии Крестовых походов 12—14 вв. Милитаризация урбанизма компенсировалась в 14—16 вв. активностью Ганзейского торгового союза, отчасти восстановившего традиции Балтийской цивилизации, и включившего в систему этих связей (в том числе, и на уровне обмена духовными ценностями) Псков и Новгород, которые оставались в послемонгольской Руси самостоятельными и развитыми урбанистическими центрами, органично развивая начальные основания собственной культуры, восходившие к эпохе Балтийской цивилизации 8—11 вв.

Кризис средневековой системы Европейских коммуникаций после открытия Америки (1495) разрешился эпохой религиозных войн и соперничества Великих держав на Балтике 17—18 вв. Выражением нового качества северо-европейского урбанизма стал основанный в итоге этих событий Санкт-Петербург, которым Петр Великий восстанавливал древнее трансконтинентальное значение русского Пути из Варяг в Греции (1703). Вместе с «домонгольской мифологемой» ПВГ как сакрального Андреевского пути, более или менее неосознанно восстанавливавась (актуализировалась) дохристианская мифологема северного пространства. Христианизированные токохроны православных монастырей дополнялись новыми сакральными центрами и объектами той же традиции (храмы и монастыри Санкт-Петербурга, аракчеевское Грузино на Волхове и др.). Далеко не всегда эти процессы многослойного мифологического освоения пространства адекватно рефлексировались актуальной культурой. Многократное наложение оппозиции «свой-чужой» в этом пограничном (мультикультурном) пространстве вошло в основание базовой мифологемы Петербурга, порождая специфическую (и имманентную?) для нее внутреннюю напряженность и противоречивость.

Культурный потенциал Балтийского пространства представляет значительную историко-познавательную ценность и должен исследоваться в полном объеме данных 8—18 вв. «от викингов до россиян», как и в более ранние эпохи освоения человеком Балтийского пространства Европы. Только в этом исчерпывающем культурно-историческом диапазоне может быть сформировано адекватное представление о «петербургском мифе» как феномене русской и мировой культуры, и как действенном факторе актуального общественного самосознания.

Библиография:

1. Славяне и скандинавы. Сб. М., 1986.
2. Lebedev G. Slaves and finnes in the Northern-West Russia revised // Fennoscandia archaeologica. XI. 1994. revised.
3. Краеведческие записки. Ежегодник ГМИ. Спб., 1994.

ЖУЧКОВ В. П.
(Санкт-Петербург, Россия)

БЫЛИ ЛИ РОДСТВЕННИКАМИ МАРИЯ ФЕДОРОВНА ПЛЕХАНОВА И ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ БЕЛИНСКИЙ

В мае 1998 будут отмечаться две знаменательные даты — со дня смерти В. Г. Белинского (150 лет, 26 мая), и Г. В. Плеханова (90 лет, 30 мая). Преследуемые царским правительством, они оба умерли в результате продолжительной болезни (от туберкулеза) и были похоронены рядом на Волковом кладбище в Петербурге в месте, ставшем известным впоследствии под названием «Литераторские мостки» (1).

Многие полагали и до настоящего времени считают, что между матерью Г. В. Плеханова, Марией Федоровной, урожденной Белинской, и В. Г. Белинским (по отцу Белинским) существовали родственные связи. В некоторых изданиях приводятся упоминания П. Н. Дневницкого (Ф. О. Цедербаума), Л. Г. Дейча и С. Я. Вольфсона (2) о том, что Мария Федоровна была племянницей великого критика; в других — утверждения Б. А. Чагина, И. Н. Курбатовой, М. Т. Иовчука, И. Б. Миндлина, П. Ф. Максяшева, В. И. Уланова, В. Шахова, а также Ф. С. Коротаева — внучатой племянницей (3); в третьих — А. С. Бережанского — сестрой (4); в четвертых — А. А. Френчера — родственницей по шляхетской линии (5); в пятых — М. А. Лившица, П. Ф. Максяшева и В. Д. Осипова — просто родственницей (6).

Столь высокий разброс мнений известных плехановедов и белинковедов, историков, социологов, филологов и писателей, свидетельствует об отсутствии серьезных генеалогических исследований семей М. Ф. Белинской-Плехановой и В. Г. Белинского, и о необходимости проведения дополнительных изысканий с целью установления исторической истины — а были ли вообще Плеханов и Белинский родственниками?

Эти изыскания были проведены мною в период с 1994 по 1996 с использованием архивных материалов, публикаций и мнений специалистов: Н. М. Анохиной (Музей-усадьба В. Г. Белинского, г. Белинский), А. С. Бережанского (Дом-музей Г. В. Плеханова, Липецк), Т. И. Филимоновой (Дом Плеханова, Санкт-Петербург).

Установлено, что первичным источником информации о родстве Г. В. Плеханова с В. Г. Белинским являлся Иван Федорович Белинский (1827—1874), старший и родной брат Марии Федоровны Плехановой

(19.06.1832 — 04.12.1881), сообщивший ей (ок. 1850), что с ним одно время завязал переписку известный критик Виссарион Григорьевич Белинский. Узнав, что в Воронежской губернии проживают Белинские, он разыскал Ивана Федоровича и с ним списался. Они оба выяснили, что предки их происходят из польских шляхтичей, и установили свое родство. Однако обнаружить эту переписку не удалось ни ранее (7), ни теперь. Единственным объяснением неудачи поиска может быть лишь то, что эта переписка не существовала вообще.

Из анализа построенных генеалогических схем семей М. Ф. Белинской и В. Г. Белинского и документальных данных следует:

1. Дед Марии Федоровны, Дмитрий Павлович Белинский (р. ок. 1758), происходил из «ober-офицерских детей», военную службу начал в 1778, 28.05.1787 произведен в подпоручики, 30.11.1787 по болезни отставлен, жил в Усмани Тамбовской губернии. 04.08.1802 родился отец Марии Федоровны — Федор Дмитриевич. В Усмани у Федора Дмитриевича Белинского, служившего в Уездном Суде, и его жены Анны Васильевны родились: в 1827 — сын Иван (согласно семейной легенде имевший переписку с критиком Белинским), в 1830 — дочь Агния и 19.06.1832 — Мария (мать Г. В. Плеханова). От второго брака у Федора Дмитриевича были: Александр (1835 г. р.), Лариса (1837 г. р.), Василий (1843 г. р.) и Лидия. Все члены семьи, начиная от Павла, были православного вероисповедания (8).

2. Версия о том, что Григорий Никифорович, отец Виссариона Григорьевича, — уроженец Польши или западных губерний, неверна, так как В.Г. Белинский изменил свою фамилию вместо Белинский, уже будучи студентом Московского университета (9). Исследование генеалогии семьи Белинского и его родственников полностью отвергает предположение о происхождении предков критика из «польских шляхтичей». Прадед Трифон, дед Никифор, родные братья деда Алексей и Василий были священнослужителями в Белини и других селах Пензанской губернии. Старший сын Никифора, он же дядя Виссариона, Андрей Никифорович, учился в семинарии, был священником. Средний, Кузьма, учился в Тамбовской семинарии или имел отношение к ней. Там же обучался и младший сын Григорий, отец критика. Замужем за священником Саввою Ефимичем была дочь Ксения, тетя Виссариона Григорьевича, сыновья которой, — они же двоюродные братья Виссариона Григорьевича, — Ефим и Кирилл, обучались в Пензенской семинарии, где при поступлении получили фамилию Кантовых. Замужем за священником М. Л. Гостомысловым была дочь Ксения Дарья, двоюродная сестра Виссариона, а две другие ее дочери — Варвара и Аграфена — были также выданы замуж за священников в своем

уезде. Выйдя замуж за С. Я. Фадеева, и вторая тетя Виссариона, Мария Никифоровна, оказалась в семье священников, где священнослужителем был ее свекор Яков Фадеев, а свекровь, Агафья Дмитриевна, была, к тому же, попова дочка.

Некоторые сведения о священниках в ветви Алексея Трифонова, родного дяди Григория Никифоровича, таковы. Сам Алексей был женат на Ирине Артемьевне, дочери священника из села Владыкина. Кроме Алексея Трифонова, из четырех детей (Петра, Ивана, Ксении и Авдотьи) священниками были Петр и Иван, ушедший в монахи. Дочь Авдотья была выдана замуж за сына пономаря в селе Пачелму. Священниками были также и внуки Алексея Трифонова, Василий и Ермолай Филипповичи и Гавриил Петрович (10).

Необходимо отметить, что сам Виссарион Григорьевич венчался 12 ноября 1843 с Марией Васильевной — дочерью священника Василия Васильевича Орлова из села Городищи Клинской округи Москвы (11).

3. Родословная В. Г. Белинского наглядно иллюстрирует происхождение его предков из духовенства. Кроме того, из нее очевидно, что она ни где не пересекается с родословной Марии Федоровны Белинской-Плехановой.

4. Следовательно, критик Белинский не мог написать письмо о родстве с семьей Ивана Федоровича Белинского. Видимо «это письмо» — плод воспаленного, И. Ф. Белинского по роду своей деятельности был выбран становым приставом в одном селе, но, не удовлетворяя, вероятно, полицейской работой своих внутренних запросов, пил запоем и погиб от алкоголизма (12).

5. Таким образом, ни Мария Федоровна Плеханова, урожденная Белинская, ни тем более ее сын, Георгий Валентинович Плеханов, не являлись родственниками Виссариона Григорьевича Белинского.

Библиография:

1. Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов в России (1917 г.). Воспоминания. Публ., предисл. и комм. Филимоновой Т. И. и Смирновой И. В. // Вопросы истории КПСС. 1991. № 8. С. 67; Потресов А. Г. В. Плеханов // Былое. 1918. № 12. Кн. 6. Июнь. С. 183.
2. Дневницкий П. Н. Из жизни Г. В. Плеханова // Памяти Г. В. Плеханова. Однодневная газета. 1918. 9 июня. С. 3; Дейч Л. Г. Г. В. Плеханов. Материалы для биографии. Вып. 1-й. От народничества к марксизму // Новая Москва. 1922. С. 7; Вольфсон С. Я. Великий социалист. Краткий

очерк жизни Г. В. Плеханова. Изд. 2-е. Гос. изд-во Белоруссии. Минск. 1922. С. 9.

3. Чагин Б. А., Курбатова И. Н. Плеханов. М., «Мысль». 1973. С. 8; Иовчук М. Т., Курбатова И. Н. Плеханов. М., «Молодая гвардия». 1977. С. 8; Миндлин И. Б. Атеизм и религия в трудах Г. В. Плеханова. М., Наука». 1984. С. 6; Максяшев П. Ф. Наш Белинский. Саратов. 1986. С. 72; Курбатова И. Н., Уланов В. И. Г. В. Плеханов. Русский рабочий в революционном движении. Л., 1989. С. 214; Шахов В. Уроки истории — уроки Плеханова. Липецк. «Родники липецкие». 1991. С. 14; Коротаев Ф. С. Г. В. Плеханов. Человек и политик. Пермь. 1992. С. 8, 112.
4. Бережанский А. С. Годы на родине // Собеседник. Портреты, этюды, исторические повествования, очерки. Воронеж. 1971. С. 81.
5. Френчер А. А. и др. На Родине Плеханова // Пролетарская революция. М., 1922. № 8. С. 32.
6. Лифшиц М. А. Вступительная статья // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства. М., «Искусство». 1978. Т. 1. С. 102; Лифшиц М. А. Г. В. Плеханов: Очерк общественной деятельности и эстетических взглядов. М., 1983. С. 143; Максяшев П. Ф. В. Г. Белинский в Чембаре и Пензе, Саратов. 1980. С. 4; Осипов В. Д. Подснежник. Повесть о Георгии Плеханове. М., 1982. С. 51, 128, 250.
7. РНБ. АДП. Ф. 1094. Оп. 1. № 290. Л. 33/33 об., 35/35 об.; Там же. № 342. Л. 12/12 об.
8. ГАТО. Ф. 161. Оп. 1. № 2186. Л. 1, 3, 4, 11 об.; ГАТО. Ф. 2. Оп. 139. № 96. Л. 7; Бережанский А. С. Новое о семье, в которой рос Г. В. Плеханов. // Вопросы истории. № 4. 1993. С. 156; Бережанский А. С. — Жучкову В. П. Письмо от 17.04.1995.
9. Лажечников И. И. Заметки для биографии Белинского // Московский вестник. 1859. № 17. С. 106; Свияжский Д. (Минаев Д. Д.) В. Г. Белинский. Биографический очерк. СПб., 1860. С. 72; Там же. С. 4; Р. В. Г. В. Г. Белинский // Русский художественный листок Тимма. 1862. С. 1.
10. Максяшев П. Ф. В. Г. Белинский в Чембаре и Пензе. Саратов. 1980. С. 4; ГАТО. Ф. 186. Оп. 4. № 5. Л. 5; В. Г. Белинский Сб. статей и документов к биографии великого критика. Под ред. Бродского Н. Л. Пенза. 1948. С. 133, 135, 136.
11. РГИА. Ф. 1343. Оп. 17. Ч. 1. № 2583. Л. 9; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. № 111. Л. 78. ГАПО.
12. Лифшиц М. А. Вступительная статья // Плеханов Г. В. Эстетика и социология искусства. М. «Искусство». 1978. Т. 1. С. 32.

СПИСОК ДОКЛАДЧИКОВ

1. Балуев Борис Петрович — доктор исторических наук, профессор ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, Москва
2. Бережанский Александр Самуилович — заведующий Домом-музеем Г. В. Плеханова, Липецк
3. Василенко Ирина Алексеевна — доктор политологических наук, кафедра политологии Московского государственного университета
4. Казарова Нина Акоповна — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Ростовского государственного педагогического университета
5. Казин Александр Леонидович — доктор философских наук, заведующий сектором Российского института истории искусств, профессор кафедры этики и эстетики Санкт-Петербургского Государственного педагогического университета
6. Каравеев Андрей Вячеславович — сотрудник сектора специального хранения отдела фондов и обслуживания Российской Национальной Библиотеки, Санкт-Петербург
7. Cleminson Richard — доцент отделения современных языков Университета Бредфорда, Западный Йоркшир, Великобритания.
8. Косолапов Николай Алексеевич — кандидат исторических наук, заведующий отделом международных политических проблем Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, и. о. профессора кафедры политологии Московского государственного университета
9. Любин Валерий Петрович — кандидат исторических наук, заведующий сектором политических партий и движений института научной информации по общественным наукам (НИОН) РАН, Москва
10. Opeide Gunnar — доцент Школы языков и литературы университета Тромсе, Норвегия
11. Панарин Александр Сергеевич — доктор философских наук, профессор, заведующий сектором философии истории Института философии РАН, заведующий кафедрой политологии Московского государственного университета
12. Пеев Георгий Иванович — преподаватель Русского христианского гуманитарного института, Санкт-Петербург
13. Van Rossum Leo — заведующий секцией России и Восточной Европы Международного института социальной истории, Амстердам, Голландия
14. Sakamoto Hiroshi — доцент Университета международных исследований Тояма, Япония.
15. Светленко Сергей Иванович — кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ДГУ, Украина.
16. Slatter John — доктор философии, профессор Русского отделения Школы современных европейских языков Университета Дэрхэма, Великобритания
17. Усыскин Григорий Самойлович — доктор исторических наук, профессор Ленинградского областного института усовершенствования учителей, руководитель секции краеведения Дворца творчества юных, Санкт-Петербург
18. Чернобаев Анатолий Александрович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории Московского государственного энергетического университета, главный редактор журнала «Исторический архив», Москва
20. Юрьев Андрей Алексеевич — кандидат искусствоведения, доцент кафедры зарубежного искусства театроведческого факультета Государственной Академии Театрального искусства, Санкт-Петербург.